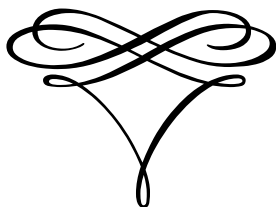






Франсуа Мари Аруэ Вольтер

*Философские
произведения*



Москва
ЭКСМО
2005



От издательства

Этот человек навсегда вошел в историю человечества как один из величайших насмешников, мыслителей, писателей и общественных деятелей, обязанный своим успехом исключительно собственной настойчивости, уму и таланту. Звали его *Мари Франсуа Аруэ*, или просто — *Вольтер*.

Он родился 21 ноября 1694 в Париже, в семье нотариуса и сборщика налогов. После смерти матери его отдали в парижский иезуитский коллеж Людовика Великого, где он и получил «официальное» образование (1704—1711). Он сохранил благодарные воспоминания о добродушных и ласковых монахах, которые «старались сделать привлекательными науку и добродетель»; и в годы своей славы он не раз присылал на их суд свои новые произведения.

Однако ни церковная схоластика, ни строгий и нравственно возвышенный образ жизни, ни право, которое он начал было

изучать по настоянию отца, не привлекали юное дарование. Мари Франсуа с детства куда больше нравилось быть поэтом-вольнодумцем и светским человеком — этот идеал остроумного, легкого и блестящего существования он усвоил еще с тех пор, когда салон его матери наполняли изящные шалопаи из высшего парижского общества, не чуждые стихотворства, изобиловавшего игривыми двусмысленностями. Его собственные первые поэтические опыты также относятся к тому времени; в коллеже сочинение стихов помогало ему отвлечься от нагонявшей тоску монастырской науки.

Мари Франсуа Аруэ примкнул к «обществу Тампля» — кружку пожилых вельмож с донжуанским прошлым, разбитых аббатов, светских людей, которые объединились вокруг герцога Вандома, главы Ордена мальтийских рыцарей. Вскоре он прославился дерзкими и остроумными стихотворениями, за некоторые из которых, задевавшие тогдашнего правителя Франции, герцога Орлеанского, в мае 1717 года молодого поэта на год упрятали в Бастилию — главную тюрьму страны.

Пребывание в Бастилии способствовало «взрослению» его таланта: в 1718 году на сцене была поставлена трагедия «Эдип», которая сразу же вознесла на вершину славы ее автора, подписавшегося «де Вольтер» — Мари Франсуа Аруэ явно считал незаслуженной несправедливостью со стороны судьбы то обстоятельство, что он родился не в дворянской семье. Литературный успех Вольтера подкрепила большая поэма «Генриада» (1723, первоначальное название «Лига»).

Стремление низкорожденного на равных общаться с представителями родовитой аристократии обычно заканчивается плачевно — и Вольтер не стал исключением. Над его попытками выдать себя за аристократа стал открыто насмехаться шевалье де Роан-Шабо, отпрыск одного из знатнейших семейств Франции. Несколько словесных столкновений между ними завершились победой Вольтера (чего стоит только одна фраза молодого поэта: «Сударь, мое имя ждет слава, а ваше — забвение!»), после чего де Роан прибег к более надежному средству: его слуги просто как следует избили Вольтера, пока их хозяин руководил наказанием из своей кареты.

Все аристократические приятели Вольтера, разумеется, приняли сторону де Роана, а власти вдобавок посадили поэта в апреле 1726 года на две недели в Бастилию, а затем освободили с условием, что он покинет страну. Вольтер выбрал Англию, и последующие два года провел там, изучая британскую литературу, науку и общественную жизнь. Это был важный этап в образовании Вольтера, который неожиданным образом продолжился после его возвращения на родину в начале 1728 года: он увлекся маркизой дю Шатле и на долгие годы поселился в ее родовом замке в Сирее, занимаясь вместе со своей возлюбленной разнообразными науками, в особенности математикой и физикой.

Во второй половине 40-х годов Вольтер на непродолжительное время сблизился с французским королевским двором, однако прижиться там ему было не суждено и в 1749 г., после смерти маркизы дю Шатле, он принял приглашение прус-

ского короля Фридриха II, при дворе которого провел несколько последующих лет (1750—1753). У себя во дворце Фридрих оказался совсем не таким «королем-философом», каким он старался представить себя в письмах к Вольтеру; после разрыва с очередным государем, Вольтер благоразумно поселился на границе Франции и Швейцарии: он приобрел два замка, Турней и Ферней, расположенные по обе стороны французско-швейцарской границы.

Из этого «маленького королевства» Вольтер до самой смерти в 1778 г. вел переписку со многими европейскими монархами — императрицей Екатериной II, королями Пруссии, Швеции, Дании, Польши, вел обширную правозащитную и просветительскую деятельность, создал множество прославивших его сочинений, в том числе — статей для известной «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. д'Аламбера. Впоследствии его имя стало нарицательным (в России свободомыслящих людей еще долго называли «вольтерьянцами»), а Франция признала в нем одного из своих достойнейших сынов. В споре со своими титулованными современниками Вольтер, как и во многом другом, одержал впечатляющую победу.

Вадим Татарinov

Мемуары
Вольтера



*Мемуары Вольтера,
написанные им самим
в 1759 году и напечатанные
лишь в 1784 году*

Меня утомила праздная, суетливая жизнь Парижа и толпы щеголей; мне надоели плохие книги, печатаемые с одобрения и под покровительством короля, интриги литераторов, подлости и разбойничьи выходки презренных людей, позорящих литературу. В 1733 году я встретил молодую даму приблизительно одних со мною мыслей, которая решила удалиться на несколько лет в деревню, чтобы вдали от светского шума образовать и развить свой ум: это была маркиза дю Шатле, самая способная ко всем наукам женщина во Франции.

Отец ее, барон де Бретейль, заставил ее изучить латинский язык, которым она владела, как г-жа Дасье. Она знала наизусть лучшие отрывки из Горация, Вергилия и Лукреция; все философские сочинения Цицерона были ей хорошо знакомы. Преобладающую же склонность она имела к математике и метафизике. Редко встречается такая точность ума и столько вкуса в соединении с таким рвением к науке. Вместе с тем она любила свет и все удовольствия, соответствующие ее полу и возрасту. Однако она бросила все, чтобы похоронить себя в полуразрушенном замке, лежащем на границе Шампани и Лотарингии, на неблагоприятной и бесплодной почве. Она украсила этот замок (Сире), окружив его довольно привлекательными садами. Я построил в нем галерею, из которой сделал прекрасный физический кабинет. У нас была огромная библиотека. Некоторые из ученых приезжали пофилософствовать в нашем убежище. У нас целых два года жил знаменитый Кениг, умерший потом профессором в Гааге и библиотекарем принцессы Оранской. Приезжал, вместе с Жаном Бернулли, Мопертюи, самый завистливый из людей, сделавший меня с тех пор предметом этой своей преобладающей страсти.

Я учил г-жу дю Шатле английскому языку, и она через три месяца знала его не хуже меня и читала Локка, Ньютона и Попа. Она научилась также и итальянскому языку, и мы вместе прочитали всего Тассо и всего Ариосто. Поэтому, когда приехал в Сире Альгаротти и оканчивал здесь свое сочинение «*Neutonianismo per le dame*», она уже достаточно

хорошо знала итальянский язык, чтобы давать ему очень дельные советы, которыми он воспользовался. Альгаротти был очень милый венецианец, сын богатого купца. Он путешествовал по всей Европе, знал всего понемногу и всему умел придавать приятность.

В этом прелестном убежище мы стремились лишь к тому, чтобы приобретать знания, не заботясь о том, что происходит в остальном мире. Долгое время все наше внимание было сосредоточено на Лейбнице и Ньюtone. Г-жа дю Шатле прежде всего занялась Лейбницем и изложила часть его системы в прекрасно написанной книге под заглавием: «*Institutions de Phisique*». Она не старалась украсить эту философию посторонними элементами: ее мужественный и правдивый характер чуждался этого рода кокетства. Ясность, точность, изящество — вот основные черты ее стиля. Если когда-либо можно было придать некоторую правдоподобность идеям Лейбница, то ее следует искать в этой книге. Однако теперь уже мало стали обращать внимание на то, что думал Лейбниц.

Стремясь всем своим существом к истине, она вскоре бросила философские системы и обратилась к открытиям Ньютона. Она перевела на французский язык всю книгу математических начал¹, а затем, укрепив свои знания, прибавила к этой книге, которую понимают немногие, алгебраический комментарий, также мало доступный обыкновенному читателю. Г. Клеро, один из наших лучших геометров, тщательно просмотрел этот комментарий. Книгу начали печатать, и то, что издание не было окончено, не делает чести нашему веку.

Мы занимались в Сире всеми искусствами. Я написал «Альзиру», «Меропу», «Блудного сына» и «Магомета». Я работал для нее над «Опытом всеобщей истории» от Карла Великого до наших дней. Я избрал эпоху Карла Великого, потому что на ней остановился Боссюэ и потому что я не осмеливался касаться того, над чем уже работал этот великий писатель. Однако г-жа дю Шатле была недовольна «Всемирной историей» этого прелата. Она находила ее только красноречивой, и ее возмущало то, что все сочинение Боссюэ относилось к такой презренной нации, как евреи.

Прожив шесть лет среди занятий науками и искусствами, мы вынуждены были отправиться в Брюссель, где фамилия дю Шатле давно уже вела большой процесс против фамилии Гонсбрук. Мне посчастливилось встретить там знаменитого и несчастного де Витта: он был первым президентом счетной палаты. У него была одна из лучших библиотек в Европе, которая много помогла мне при составлении «Всеобщей истории». Но в Брюсселе мне выпало на долю еще большее и более чувствительное для меня счастье: ныне удалось уладить процесс, из-за которого два семейства разорялись в течение шестидесяти лет. Я добился того, что маркизу дю Шатлэ было выплачено чистыми деньгами 220 тысяч ливров, — и процесс был окончен.

В то время, как я был еще в Брюсселе, в 1740 году, умер в Берлине толстый король прусский Фридрих-Вильгельм, самый непокладистый, бесспорно самый экономный и самый богатый наличными деньгами из всех монархов. Сын его, со-

ставивший себе столь удивительную репутацию, находился со мной в довольно близких отношениях уже более четырех лет. Я полагаю, что менее похожих друг на друга отца и сына, нежели эти два монарха, трудно отыскать. Отец был настоящий вандал, который в течение всего своего царствования только и думал о том, чтобы копить деньги и тратить как можно меньше на содержание лучшего войска в Европе. Никогда подданные не были беднее, и никогда король не был богаче. Он скупил за бесценок большинство земель своего дворянства, которое очень скоро прожило полученные за них небольшие суммы, причем большая часть этих денег вернулась в королевские сундуки путем налогов на съестные припасы. Все королевские земли были сданы в аренду сборщикам податей, которые в то же время были и судьями, так что если земледелец не платил в срок арендатору, последний надевал свой судейский мундир и присуждал виновного к двойной уплате. Надо заметить, что когда тот же судья не вносил деньги королю в последнее число месяца, то 1-го числа следующего месяца на него насчитывался уже двойной взнос.

В сравнении с деспотизмом, проявляемым Фридрихом Вильгельмом, Турция могла сойти за республику. Подобными средствами он успел за двадцать восемь лет царствования скопить в подвалах своего берлинского дворца около 20 миллионов золотых экю, тщательно закупоренных в бочонках с железными обручами. Ему доставляло удовольствие украшать свои покои большими предметами из массивного серебра, в которых искусство имело меньше значения, неже-

ли материальная ценность. Своей супруге он подарил кабинет, в котором вся мебель была золотая, до ручек каминных щипцов, лопаток и кофейников включительно. И из этого дворца король выходил пешком в потертом коротком кафтане из синего сукна с медными пуговицами. Когда же он заказывал новый кафтан, пуговицы переходили на него со старого. В таком наряде его величество, вооружившись толстой палкой сержанта, каждый день производил смотр своему полку великанов. Этот полк был его страстью и главным его расходом. Первая шеренга его отряда состояла из людей, среди которых самый маленький имел семь футов роста: он их скупал со всех концов Европы и Азии.

Окончив смотр, Фридрих-Вильгельм шел гулять по городу, и тогда все встречные разбегались во все стороны. Если ему попадалась женщина, он спрашивал ее, зачем она шляется по улице, и говорил: «Иди домой, негодница, честная женщина должна заниматься своим хозяйством». И сопровождал выговор пощечиной, а то и пинком ноги в живот или несколькими ударами палкой. Точно так же он обходился и с проповедниками св. Евангелия, если им приходило в голову поглазеть на парад.

Можно поэтому представить себе, как этот вандал был изумлен и недоволен тем, что сын его умен, остроумен, учтив и исполнен желания нравиться; что он стремится к образованию и пишет музыкальные пьесы и стихи. Если он видел в руках наследного принца книгу, то бросал ее в огонь; если сын играл на флейте, то ломал флейту. Иногда же он и с ним

самим поступал так же, как с женщинами на улице и с проповедниками на параде.

Так как отец мало допускал его к делам, — да и дел никаких не было в этой стране, где вся жизнь проходила в смотрах, — он наполнял свой досуг писанием писем к более или менее известным французским литераторам. Главная тяжесть выпала на мою долю. Он посылал мне то письмо в стихах, то метафизический трактат, то сочинения по истории или политике. Он называл меня божественным мужем, а я называл его Соломоном. Эпитеты нам ничего не стоили. Некоторые из этих комплиментов были напечатаны в собрании моих сочинений; но к счастью их и тридцатой части туда не попало. Я позволил себе послать ему очень красивую чернильницу работы Мартена; он был так любезен, что подарил мне несколько безделушек из янтаря. И литераторы парижских кафе с отвращением заключили из этого, что карьера моя сделана.

Один молодой курляндец по имени Кейзерлинг, который тоже кое-как писал французские стихи и вследствие этого был его любимцем, отправился по его приказанию с границы Померании в Сире. Мы устроили ему празднество: я приготовил иллюминацию, причем огнями были изображены герб и инициалы наследного принца с девизом: *Надежда человеческого рода*. Что касается меня, то если бы я пожелал ласкать себя надеждами, — я имел бы полное на то основание, так как мне писали: *милый друг* и говорили о доказательствах солидной дружбы, которые предназначаются мне, когда

принц взойдет на престол. Это наконец совершилось в то время, когда я был в Брюсселе (31 мая 1740 года). Он начал с того, что прислал во Францию чрезвычайным послом ка-леку по имени Камас, бывшего французского эмигранта, а теперь офицера на его службе. Он говорил, что в Берлине был французский посол, у которого не хватало кисти руки, и что он, желая расплатиться за все полученное от короля Франции, отправляет к нему посланника, у которого только одна рука. Камас, остановившись на постоялом дворе, прислал ко мне своего пажа, поручив ему сказать мне, что он слишком устал, не может придти ко мне сам и просит меня тотчас же прийти к нему, так как он должен передать мне от имени своего государя огромный и великолепный подарок. «Идите скорее, — сказала мне г-жа дю Шатле, — наверное вам прислали коронные бриллианты». Я поспешил к посланнику и увидел, что вместо всякого чемодана у него за стулом стояла кварта (32 литра) вина из погреба покойного короля, которое царствующий король приказывал мне выпить. Я рассыпался в благодарностях и выразил мой восторг по поводу этих жидких знаков благоволения ко мне его величества взамен тех солидных знаков дружбы, которые он мне обещал, и разделил вино с Камасом.

Мой Соломон был в то время в Страсбурге. Проезжая по длинным и узким владениям, тянущимся от Гельдра до Балтийского моря, он вздумал посмотреть *инкогнито* границы и войска Франции. Он исполнил эту фантазию, посетив Страсбург под именем богатого чешского аристократа,



Вольтер. Гравюра XVIII века

графа дю Фур. Сопровождавший его брат, наследный принц, также взял себе какой-то псевдоним. Только Альгаротти, который уже примкнул к его свите, не скрывался под маской. Король прислал мне в Брюссель описание своего путешествия наполовину в стихах, наполовину в прозе во вкусе Башомона и Шапеля, насколько только король Прусский может приблизиться к их жанру. Из его письма в стихах видно, что он еще далеко не сделался французским поэтом и, как философ, не был совершенно равнодушен к тому металлу, который накопил его отец.

Из Страсбурга он отправился осматривать свои владения в Нижней Германии и уведомил меня, что собирается посетить меня инкогнито в Брюсселе. Мы приготовили ему чудный дом; но он, заболев в маленьком замке Мез, в двух лье от Клева, написал мне, что рассчитывает на мое посещение. Итак, я отправился выразить ему мое глубочайшее почтение. Мопертюи, уже составивший свой план и одержимый желанием сделаться президентом Академии, явился без приглашения и жил, вместе с Кейзерлингом и Альгаротти, на чердаках замка. У ворот я встретил в виде стражи одного только солдата. Тайный советник Рамбоне, государственный министр прогуливался по двору, дуя себе в кулаки. На нем были длинные, грязные манжеты, дырявая шляпа, старый судейский парик, одну сторону которого он мог бы засунуть себе в карман, другая же едва доходила до плеча. Мне сказали, что этому человеку поручено важное государственное дело, — и это была правда.

Меня провели в покои его величества. Здесь кроме четырех стен ничего не было. В одной из комнат, при свете убогой свечи, я увидел жалкую узкую кровать, на которой лежал маленький человечек, закутанный в халат из темно-синего сукна: это был король, который то дрожал, то обливался потом под скверным одеялом — у него был сильный припадок лихорадки. Я раскланялся и начал с того, что стал щупать его пульс, словно был его лейб-медиком. Когда пароксизм окончился, он оделся и сел за стол. Альгаротти, Кейзерлинг, Мопертюи, посланник короля при Генеральных Штатах и я — ужинали с ним и беседовали о бессмертии души, о свободе и об андрогинах Платона. Советник Рамбоне, между тем, отправился верхом на наемной лошади и, проехав всю ночь, на другой день прибыл к воротам Льежа, где и стал распоряжаться именем своего государя, тогда как везельские войска собирали с города контрибуцию. Поводом к этой прекрасной экспедиции были какие-то права, которые король будто бы имел на одно из предместий города. Он поручил мне даже составить манифест, что я кое-как и сделал, не сомневаясь в том, что король, с которым я ужинал и который называл меня своим другом, не мог быть не прав. Дело уладилось вскоре при помощи миллиона франков, уплатить которые он потребовал тяжелыми дукатами; деньги эти возместили ему расходы по страсбургскому путешествию, на которые он жаловался в своем поэтическом письме.

Тем не менее, я чувствовал к нему привязанность, так как он был умен, милостив и, кроме того — король, что всегда,

по слабости человеческой, имеет большое значение. Обыкновенно бывает так, что мы, литераторы, восхваляем королей; этот же осыпал меня похвалами с головы до ног, в то время как аббат Дефонтен и другие негодяи ругали меня в Париже по крайней мере раз в неделю.

Король Прусский, незадолго до смерти своего отца, вздумал написать сочинение против принципов Макиавелли. Если бы Макиавелли имел своим учеником будущего государя, то он прежде всего посоветовал бы ему писать против него. Но у наследного принца такой задней мысли не было. Он писал совершенно искренно в то время, когда еще не был государем и когда образ действий отца не внушал ему любви к деспотической власти. Тогда он от всего сердца восхвалял кротость и справедливость и в своем увлечении считал каждую узурпацию преступлением. Он прислал мне тогда свою рукопись в Брюссель, чтобы ее исправить и напечатать, и я подарил ее одному голландскому издателю, по имени Вандурен, самому отъявленному плуту во всей этой корпорации. Теперь мне стало совестно печатать «Анти-Маккиавелли» — в то время как король Прусский, имея сто миллионов в своих сундуках, отбирает один миллион у бедных жителей Льежа через посредство советника Рамбоне. Кроме того, я думал, что мой Соломон на этом не остановится. Отец оставил ему 66 400 человек превосходного войска. Он увеличил это число и как будто намеревался употребить своих солдат в дело при первом же случае. Я заметил ему, что может быть неловко печатать его книгу как раз в то время, когда его могут

упрекнуть за нарушение выраженных в ней принципов, и он позволил мне остановить издание. Я отправился в Голландию единственно для того, чтобы оказать ему эту небольшую услугу; но издатель заломил такую цену, что король, который в глубине души был не прочь, чтобы его сочинение напечатали, предпочел лучше печатать его бесплатно, чем платить за то, чтобы оно не было напечатано. В то время как я был в Голландии по поводу этого дела, император Карл VI умер в октябре 1740 года, объевшись шампиньонами, отчего с ним приключился удар. И это блюдо шампиньонов изменило судьбу Европы. Вскоре оказалось, что Фридрих II, король прусский, вовсе не был таким ненавистником Макиавелли, каким выставлял себя наследный принц. Несмотря на то что в голове его уже возник план вторжения в Силезию, он все-таки пригласил меня к своему двору.

Я уже раньше говорил ему, что не могу поселиться у него, так как отдаю дружбе предпочтение перед честолюбием, что я привязан к г-же дю Шатле и из двух философов предпочитаю даму королю. Он одобрял эту свободу выбора, хотя сам женщин не любил. Я отправился к нему с визитом в октябре. Кардинал Флери написал мне длинное письмо, полное похвал «Анти-Макиавелли» и его автору, и я, конечно, показал это письмо королю. Последний уже собирал свои войска, хотя ни один из его генералов и министров не мог еще проникнуть в его планы. Маркиз де Бово, отправленный к нему с поздравлением, полагал, что новый король объявит себя противником Франции и сторонником короле-

вы Венгрии и Чехии Марии-Терезии, дочери Карла VI; что он захочет поддержать избрание на императорский престол Франца Лотарингского, великого герцога Тосканского, супруга Марии-Терезии, так как мог извлечь из этого большие выгоды для себя.

Я, более чем кто-либо, мог думать, что новый король Пруссии действительно поступит так: три месяца назад он прислал мне свое политическое сочинение, в котором смотрел на Францию как на естественного врага Германии. Но в натуре его была склонность делать все наоборот тому, что он говорил и писал. Он делал это не из коварства, а потому что писал и говорил под одним настроением, а действовал под другим.

Он отправился 15 декабря, больной перемежающейся лихорадкой, на завоевание Силезии, во главе 30-тысячного, отлично снабженного и дисциплинированного войска. Садясь на лошадь, он сказал маркизу де Бово: «Я буду играть вам в руку: если ко мне придут тузы — мы поделимся». Впоследствии он написал историю этого завоевания и показывал мне ее по окончании. Вот один из любопытнейших отрывков из начала этой летописи. Я переписал его, как единственный в своем роде памятник: «Прибавьте к этим соображениям всегда готовые действовать войска, хороший денежный запас и живость моего характера. Вот причины, побуждавшие меня вести войну против королевы Венгрии и Чехии Марии-Терезии». И несколько ниже встречалось такое выражение: «Честолюбие, корысть, мое желание прославиться востор-

жестовали, и война была решена». — С тех пор как существуют завоеватели и пылкие умы, стремившиеся к завоеванием, я думаю, что он первый высказал такое откровенное о себе мнение. Ни один человек еще, может быть, не признавал так, как он, что говорит разум, и не слушался так, как он, своих страстей. Характер его всегда состоял из этой смеси философских взглядов и проявлений разнузданного воображения. Я жалею, что побудил его вычеркнуть эти слова, когда поправлял все его сочинение: такое редкостное признание должно было перейти к потомству, чтобы послужить доказательством того, на чем основаны почти все войны. Мы — литераторы, поэты, историки, академические декламаторы — все мы прославляем эти великие подвиги; а монарх, совершающий эти подвиги, их осуждает.

Я вернулся философствовать в Сире. Зиму я провел в Париже, где у меня было множество врагов; так как, задолго до того, я написал «Историю Карла XII», поставил на сцене несколько пьес и даже сочинил эпическую поэму, и меня преследовал всякий, кто только пописывал стихами или прозой. А так как я довел еще смелость до того, что писал о философии, то, само собою разумеется, — люди, которых называют *ханжами*, стали ругать меня по старой моде атеистом. Я первый осмелился изложить общепонятным языком открытие Ньютона моим соотечественникам. Декартовские предрассудки, заступившие во Франции место учения перипатетиков, пустили такие глубокие корни, что канцлер д'Агессо смотрел на каждого, кто признавал сделанные в Англии от-

крытия, как на врага здравого смысла и государства. Он ни за что не хотел давать разрешение на печатание «Элементов философии Ньютона». — Я был большим поклонником Локка: я смотрел на него как на единственного разумного метафизика; мне нравилось в особенности его совершенно новое и в то же время мудрое и смелое мнение, что мы никогда не будем в состоянии силами собственного ума доказать, что Бог не может одарить чувством и мыслью то существо, которое мы называем *материей*.

Невозможно себе представить с какой яростью и смелостью невежества набросились на меня за эту статью. Положение Локка до той поры было неизвестно во Франции, потому что ученые читали св. Фому и Кенеля, а публика — романы. Когда я стал хвалить Локка, то накинлись и на него, и на меня. Бедняки, увлекавшиеся этим, спором, по всей вероятности, вовсе и не знали, что такое материя и что такое *дух*. Дело в том, что мы ничего о самих себе не знаем, не знаем, что такое движение, жизнь, чувство и мысль; элементы материи вам так же неизвестны, как и все остальное; мы — слепцы, которые ходят и рассуждают ощупью, и Локк был прав, признавая, что не нам судить о том, чего Всемогущий не может сделать.

Все это, а также успех моих пьес на сцене вызвали появление целой библиотеки брошюр, в которых доказывалось, что я плохой стихотворец — атеист и крестьянский сын. Напечатали мою биографию, в которой приписали мне эту прекрасную генеалогию. Один немец подобрал все эти сплетни,

которыми были начинены все написанные против меня пасквилы. Мне приписывали приключения с такими лицами, которых я никогда не видал в глаза, и с такими, которых никогда не существовало. В то время как я писал эти строки, мне попало письмо от маршала Ришелье, сообщавшего мне о скверном пасквиле, в котором говорится, будто его жена подарила мне коляску и еще что-то в то время, когда у него вовсе не было жены. Сначала меня забавляло составлять коллекцию этих выдумок, но их накопилось так много, что я бросил это занятие. Вот и все, что я получил за мои труды. Я находил себе утешение то в уединении Сире, то в хорошем обществе Парижа.

В то время как отбросы литературы воевали таким образом против меня, Франция вела войну против венгерской королевы, и надо сознаться, что эта война не отличалась большей справедливостью: после того как составили договор, поклялись и гарантировали прагматическую санкцию императора Карла VI и санкцию наследования Марией-Терезией своему отцу и получили Лотарингию в уплату за эти обещания, казалось, нельзя было изменить такому обязательству. Но кардинала Флери увлекли за пределы этих обязательств. Он не мог сказать, как король Прусский, что берется за оружие по живости своего темперамента. Этот счастливый прелат управлял на 86 году своей жизни и держал бразды правления государством довольно слабой рукой. Франция присоединилась к прусскому королю, когда он брал Силезию, послала в Германию две армии в то время, как у Марии-

Терезии не было ни одной. Одна из этих армий проникла почти до самой Вены, не встретив неприятеля. Баварию отдал курфюрсту Баварскому, который был избран императором после того, как был назначен главнокомандующим войск французского короля. Но вскоре были сделаны все ошибки, какие только нужно было сделать, чтобы все потерять.

Король Прусский, укрепив, между тем, свое мужество и выиграв несколько сражений, заключил с австрийцами мир. Мария-Терезия, к великому прискорбию своему, уступила ему графство Гатц с Силезией. Отступившись без церемонии на этих условиях от Франции в июне 1742 года, он сообщил мне, что принялся за свое лечение и советует и другим больным полечиться. Государь этот был в то время в апогее своего могущества: он имел 130 тысяч человек победоносного войска, кавалерию, которая была создана им; от Силезии он получал вдвое более того, что она давала австрийскому дому; он утвердился в новом своем завоевании и еще более был счастлив тем, что другие державы находились в плачевном положении. В настоящее время война разоряет правителей; его же она обогатила. Он направляет теперь свои старания на украшение Берлина. Он построил лучшие в Европе театральные залы и пригласил всевозможных артистов, так как он хотел идти к славе всеми путями и наиболее дешевыми средствами. Отец его жил в Потсдаме в прескверном доме; он сделал из него дворец. Потсдам превратился в хорошенький город. Берлин разросся. Там начинали познавать сладости жизни, которыми так пренебрегал покойный король. У неко-

торых жителей появилась мебель; большинство стало носить рубашки, тогда как в прежнее царствование носили только переда рубашек, привязывавшиеся тесемками; да и теперешний король никогда раньше не знал других. Все заметным образом изменялось: Спарта превращалась в Афины. Пустыри расчищались; 130 сел выросли на высушенных болотах. Королю это, однако, не мешало писать книги и сочинять музыку; поэтому нельзя особенно упрекать меня за то, что я называл его Соломоном Севера. В моих письмах я дал ему это прозвище, которое надолго осталось за ним.

Дела Франции шли не так хорошо, как его, и он втайне радовался, что французы погибают в Германии после похода, благодаря которому он получил Силезию. Французский двор потерял свои войска, свои деньги, свою славу, свой кредит за то, что доставил императорский престол Карлу VII; а император терял все благодаря тому, что надеялся на поддержку французов. Кардинал Флери умер 29 января 1743 года девяноста лет от роду: ни разу еще ни один министр не начинал свою министерскую карьеру так поздно и не оставался на своем посту так долго. Шестидесяти трех лет он сделался властителем Франции и оставался им бесспорно до самой своей смерти, выказывая всегда величайшую скромность, не приобретая никакого имущества, не кичась пышностью и только посвящая себя управлению государством. Он оставил после себя репутацию скорее человека тонкого и приятного ума, чем гения и, как говорили, знал больше двор, нежели Европу. Я имел честь встречаться с ним у жены маршала де Виллар,

когда еще он был только епископом дрянного городишка Фрежюс, вследствие чего и называл себя епископом немилостью *Божией*, как мы видим из некоторых писем его. Фрежюс был похож на очень некрасивую женщину, с которой он развелся, как только смог. Маршал де Вильруа, не зная, что епископ долго был любовником его жены, выхлопотал ему у Людовика XIV место воспитателя Людовика XV. Из воспитателя он сделался первым министром и немало способствовал ссылке своего благодетеля, маршала. Однако, помимо неблагодарности, он был довольно хорошим человеком; но так как он сам не обладал никакими талантами, то отстранял всех, кто только выказывал какое бы то ни было художественное дарование. Некоторые академики хотели, чтобы я занял его место во Французской академии. Короля за ужином спросили, кто произнесет надгробное слово кардиналу в Академии. Король указал на меня. Любовница его, герцогиня де Шатору, была на это согласна; но статс-секретарь Морепа не захотел этого. У него была мания ссориться со всеми любовницами своего государя — и это ему не обошлось даром.

Один старый идиот, учитель дофина, впоследствии епископ города Мирпуа, по имени Бойе, взялся исполнить каприз господина де Морепа. На его руках был список наград, и король предоставил ему все дела духовенства; на мое дело он взглянул со стороны церковной дисциплины. Он обратил внимание на то, что если такой мирянин, как я, унаследует место кардинала, то это будет оскорблением Бога. Я знал,

что он действует под влиянием Морепа, поэтому я отправился к этому министру и сказал ему: «Место в Академии особенной важности собой не представляет; но неприятно, уже получив его, быть исключенным. Вы в ссоре с г-жой де Шатору, которую король любит, и с герцогом Ришелье, который им управляет — какое же, спрашиваю я вас, отношение имеется между вашими ссорами и несчастным местом во Французской академии? Убедительно прошу вас ответить мне чистосердечно: в случае, если г-жа де Шатору одержит верх над епископом Мирпуа, будете ли вы противиться?» Он подумал немного и сказал: «Да, я вас уничтожу!»

Поп одержал верх над любовницей, и я не получил места, которым я вовсе не дорожил. Мне приятно вспоминать об этом происшествии: в нем ясно выказывается мелочность тех, кого считают великими, и видно, какие пустяки кажутся им важными вещами. Между тем, государственные дела со времени смерти кардинала не шли лучше, чем в последние годы его жизни. Австрийский дом возрождался из пепла. Францию теснили Австрия и Англия. Единственным нашим прибежищем оставался прусский король, который вовлек нас в войну и покинул нас, когда счел это для себя удобным.

Тогда решено было тайно послать меня к этому государю, чтобы узнать его намерения, а также не согласится ли он предупредить грозу, которая рано или поздно должна была разразиться из Вены сначала над нами, а затем и над ним, и не согласится ли он снабдить нас, при случае, сотнею тысяч войска, чтобы крепче утвердить за собой Силезию. Идея

эта запала в головы герцога Ришелье и г-жи де Шатору. Король согласился с ними, и господину Амело, министру иностранных дел, не имевшему, впрочем, никакого значения, поручено было ускорить мой отъезд.

Для этого необходим был какой-либо предлог. Я придрался в этом случае к моей ссоре с бывшим епископом Мирпуа. Король одобрил это решение, и я написал прусскому королю, что не в состоянии более выносить преследований этого театинца² и спасаюсь под защиту короля-философа от придинок ханжи. Так как этот прелат всегда подписывался сокращенно L'anc. Èvoq. de Mirepoix (*L'ancien ovoque de Mirepoix* — бывший епископ Мирпуа), и почерк у него был неразборчивый, то и можно было прочесть так: L'one de Mirepoix (осел из Мирпуа). Над этим много смеялись, и переговоры велись очень весело.

Король Прусский, никогда не церемонившийся с монахами и придворными прелатами, отвечал мне целым потоком насмешек над «ослом из Мирпуа» и приглашал меня приехать как можно скорее. Я, разумеется, давал читать мои письма и ответы на них. Епископ узнал об этом и пожаловался Людовику XV на то, что я делаю его посмешищем иностранных дворов. Король сказал ему, что это делается по уговору, и что он не должен обращать на это внимание. Этот ответ Людовика XV, совершенно не соответствовавший его характеру, показался мне необычайным. Я одновременно имел удовольствие отомстить епископу за то, что он исключил меня из Академии, совершить очень приятное путеше-

вие и получить, кроме того, возможность оказать услугу королю и государству. Господин де Морепа принимал даже весьма горячее участие в этом предприятии, потому что он в этом случае командовал министром Амело и сам воображал себя министром иностранных дел. Самым оригинальным при этом было то, что приходилось довериться в этом деле г-же дю Шатлэ. Она ни за что на свете не соглашалась, чтобы я оставил ее для короля Прусского. Она находила, что нет ничего более отвратительного и подлого, чем покидать женщину ради монарха. Она подняла бы невероятный шум. Чтобы умиротворить ее, решено было, что она примет участие в заговоре и что все письма будут проходить через ее руки. Денег на путешествие мне отпускали под простые расписки сколько я хотел, но я не злоупотреблял доверием. Я остановился на первое время в Голландии, пока король Прусский ездил с одного конца своих владений до другого, чтобы производить смотры. Мое пребывание в Гааге не было бесполезным. Я квартировал в старом дворце, принадлежавшем тогда прусскому королю по разделу с оранским домом. Посланник его, молодой граф Подевилльс, счастливо влюбленный в жену одного из главных членов правительства, получал, благодаря любезности своей дамы, копии со всех тайных решений высших властей, решений, весьма недоброжелательных по отношению к нам. Я переслал эти копии двору, и услугами моими были там очень довольны.

Когда я приехал в Берлин, король поместил меня у себя, как и в предшествовавшие мои посещения. В Потсдаме он

жил совершенно так, как всегда жил потом со времени своего вступления на престол. Не безынтересно будет сообщить некоторые подробности этой жизни. Он вставал в пять часов утра летом и в шесть зимой. Если вы полюбопытствуете узнать, каковы были церемонии этого вставания, каковы были обязанности его капеллана, его главного камергера, его камер-юнкера, его стража, то я отвечу вам, что один лакей приходил затопить у него печку, одеть и выбрить его; да и то он одевался большею частью сам. Спальня его была довольно красива; роскошные серебряные перила, украшенные художественно сделанными амурами, окружали, по-видимому, возвышение кровати, закрытой занавесью; но за занавесью, вместо кровати, скрывалась библиотека, тогда как постель короля представляла собой скверную, скрытую ширмой, складную кровать с тонким тюфяком. Марк Аврелий и Юлиан — апостолы стоицизма — спали наверное не хуже его.

Когда его величество был совершенно одет, этот стоик посвящал несколько минут учению Эпикура: он призывал к себе двух или трех фаворитов — поручиков своего полка, пажей, скороходов или молоденьких кадетов — и пил с ними кофе. Тот, которому бросали платок, оставался минут на десять вдвоем с королем. До последней крайности дело не доходило, так как государь при жизни отца сильно пострадал от мимолетных любовных связей и был плохо вылечен. Первой роли он играть не мог — ему приходилось довольствоваться второю. По окончании этих школьных забав он принимался за государственные дела.

Первый министр его приходил по потайной лестнице с большой связкой бумаг под мышкой. Этот первый министр был просто приказчик, живший во втором этаже дома Федерсдорфа, солдат, сделавшийся лакеем и любимцем короля и служивший некогда ему, тогда наследному принцу, — во время заключения в Кюстринском замке.

Статс-секретари посылали к этому приказчику короля все депеши. Он приносил ему извлечение из них, а король в двух словах отмечал ответ на полях. Таким образом, все дела государства решались в час времени. В редких случаях до него допускались сами статс-секретари и министры: бывали даже и такие, с которыми он никогда не говорил. Его отец завел такой порядок в финансах, все исполнялось с такой военной точностью, повиновение было до того слепо, что страна в 400 квадратных миль управлялась как какое-нибудь аббатство.

Около одиннадцати часов король, в высоких сапогах, делал в саду смотр своему гвардейскому полку, и в тот же час во всех провинциях полковые командиры производили смотры своим полкам. В промежутке между парадом и обедом принцы — его братья, высшие офицерские чины, два или три камергера собирались к его столу, который был настолько хорош, насколько мог быть хорош стол в стране, где нет ни дичи, ни порядочной говядины, ни пулярок и где пшеницу надо выписывать из Магдебурга. После обеда король удалялся в свой кабинет и писал стихи до пяти или шести часов. Затем являлся молодой человек, по имени Дарже, быв-

ший секретарь французского посла Валори, и читал ему вслух. В семь часов начинался маленький концерт: король играл на флейте не хуже лучшего артиста. Нередко исполнялись его собственные сочинения, так как не было ни одного искусства, которым бы он не занимался, и в Древней Греции ему не пришлось бы испытать того стыда, который испытал Эпаминонд, сознавший, что он не понимает музыки. Ужин происходил в маленьком зале, самым удивительным украшением которого служила картина, заказанная им своему живописцу, одному из лучших колористов — Пэну. Это была чудная приапея. Здесь изображены были юноши, обнимающие женщин, нимфы под сатирами, резвящиеся амуры, несколько зрителей, в экстазе созерцающих эту сцену, целующиеся голубки, козлы, прыгающие на коз, бараны — на овца.

Разговоры за ужином велись самые философские. Если бы кто-либо посторонний услышал нас и увидел эту картину, то ему показалось бы, что семь мудрецов Греции собрались в публичном доме. Нигде в мире не говорили с такой свободой о людских суевериях и нигде не говорили о них с такой насмешкой и презрением. К Богу относились с почтением, зато не щадили тех, которые обманывали людей его именем. — Во дворец никогда не входили ни женщины, ни попы. Одним словом, Фридрих обходился без двора, без совета и без культа. Он правил церковью так же деспотически, как и государством. Он сам давал разводы, когда муж и жена хотели повенчаться с другими. Один пастор привел ему однажды, по поводу этих разводов, текст из Ветхого завета.

Он отвечал: «Моисей делал со своими евреями, что он хотел, а я управляю моими пруссаками, как умею».

Это странное управление, эти еще более странные нравы, эта смесь стоицизма и эпикурейства, строгости военной дисциплины и изнеженности во дворце; пажи, с которыми забавлялись в кабинете, и солдаты, которых по тридцати шести раз прогоняли сквозь строй под окнами смотревшего на них государя, нравственные проповеди и разнузданные нравы — все это представляло собой удивительно странную картину, о которой многие ничего не знали и с которой Европа познакомилась лишь впоследствии.

В Потсдаме все фантазии короля подчинялись строгой экономии. Его стол и стол его офицеров и слуг, за исключением вина, не превышал тридцати трех экю в день. И тогда как у других королей расходами заведуют коронные чиновники, у него главным метрдотелем, виночерпием и хлебода-ром был его лакей Федерсдорф. По экономическим или по политическим соображениям он не оказывал никакой милости своим прежним любимцам, а в особенности тем, которые рисковали жизнью ради него, когда он был наследным принцем. Он не возвращал даже денег, которые занимал в то время, и подобно тому, как Людовик XII не мстил за обиды, нанесенные герцогу Орлеанскому, король прусский забывал долги наследного принца.

Когда он приезжал в Берлин, он выказывал большую пышность в дни приемов. Это было великолепное зрелище для людей тщеславных, которые видели его за столом, окру-

женного тридцатью принцами, обедающим на прекраснейшей в Европе золотой посуде, тогда как тридцать красивых пажей и столько же скороходов в роскошных костюмах несли большие блюда из массивного золота. На этих обедах появлялись и высшие сановники, — в другое же время их никто никогда не видел. После обеда отправлялись в оперу, в громадную залу в триста футов длины, которую один из его камергеров, по имени Кноберсдорф построил без помощи архитектора. Лучшие певицы и танцовщицы были у него на жалованьи. Знаменитая Барбарини танцевала тогда в его театре; впоследствии она вышла замуж за сына его канцлера. Король приказал похитить эту танцовщицу из Венеции с помощью солдат, которые и привезли ее в Берлин. Он был немножко влюблен в нее, потому что у нее были мужские ноги. В особенности непонятно было то, что он давал ей 32 тысячи ливров жалованья. Его поэт, итальянец, которого он заставлял перекладывать в стихи текст опер (текст этот он составлял всегда сам), получал только тысячу двести ливров; но надо при этом сказать, что этот поэт был очень некрасив и не танцевал. Одним словом, одна Барбарини получала больше, чем три министра вместе. Что касается поэта-итальянца, то он однажды вознаграждал себя сам, своими руками: он отпорол в одной старой капелле прусского короля золотые галуны, которыми она была отделана. Король, никогда не посещавший этой капеллы, сказал только, что он ничего не потерял. Кроме того, он незадолго до того написал в защиту воров рассуждение, напечатанное в сборниках его Акаде-

мии, и не считал удобным на этот раз, чтобы действия его расходились с писаниями.

Так посреди празднеств, оперных спектаклей и ужинов подвигалась вперед моя миссия. Король желал, чтобы я говорил с ним обо всем, и я, разговаривая об «Энеиде» и Тите Ливии, примешивал вопросы о делах Франции и Австрии. Иногда разговор оживлялся, король горячился и говорил, что пока наш двор будет стучаться во все двери, чтобы добиться мира, он не подумает драться из-за него. Я прислал ему из своей комнаты мои размышления по этому поводу, написанные на бумаге, перегнутой пополам — для полей. Он написал ответы на этих полях на мои смелые взгляды. Я еще храню страницу, на которой я писал ему: «Разве вы думаете, что австрийский дом при первом же случае не потребует от вас Силезии?» Вот его ответ, написанный на полях:

Ils seront reous, biribi,
A la faoon de barbari,
Mon ami³.

Эти необыкновенные переговоры окончились словами, которые он сказал мне в минуту раздражения против английского короля, своего дяди. Оба короля не любили друг друга, причем прусский король говаривал: «Георг — дядя Фридриху, но не дядя прусскому королю». Наконец он сказал: «Пусть только Франция объявит войну Англии, и я двинусь в поход». Больше мне ничего и не было нужно. Я вернулся во Францию и отдал отчет о своем путешествии, сообщив

о надежде, которую мне дали в Берлине. Надежда эта не обманула, и следующей весной король Прусский заключил новый договор с королем Франции. Он выступил в Чехию с войском в 100 тысяч человек в то время, как австрийцы были в Эльзасе.

Если бы я рассказал какому-нибудь доброму парижанину о том, что со мной случилось и об оказанной мной услуге, он, конечно, вообразил бы себе, что меня тотчас же назначат на какой-нибудь важный пост. А между тем вот какова была моя награда. Герцогиня де Шатору обиделась, что переговоры не велись непосредственно через нее; ей пришла фантазия прогнать Амело за то, что он заикался, а этот недостаток был ей противен. Кроме того, она ненавидела Амело за то, что им руководил Морепа. Его спровадили в неделю, и немилость эта отразилась и на мне.

Некоторое время спустя, Людовик XV смертельно заболел в Метце; Морепа и его креатуры воспользовались этим, чтобы погубить г-жу де Шатору. Епископ Суассонский Фитц-Джеймс, сын незаконного сына Иакова II, считавшийся чуть не святым, захотел, в качестве духовника, спасти душу короля и объявил ему, что не допустит его к причастию и не даст отпущение грехов, если он не прогонит от себя свою любовницу и сестру ее, герцогиню де Лораге, а также их друзей. Сестры уехали, сопровождаемые проклятиями жителей Метца. За это-то деяние парижский народ, столь же глупый, как и народ Метца, дал Людовику XV название *возлюбленного* (le Bien-Aimé); какой-то шутник, по имени

Ваде, придумал это прозвище, распространенное потом всеми альманахами. Когда король выздоровел, он захотел быть только возлюбленным своей любовницы. Любовь их разгорелась сильнее прежнего. Она должна была вернуться к своим обязанностям и готовилась выехать из Парижа в Версаль, как вдруг скоропостижно умерла от последствий бешеной вспышки гнева, вызванной ее отставкой. Она скоро была забыта.

Нужна была заместительница для нее, и выбор пал на девицу Пуассон, дочь содержанки и крестьянина, нажившего некоторое состояние продажей хлеба скупщикам. Он был в это время где-то в бегах, так как состоял под судом за какое-то мошенничество. Дочь его выдали замуж за помощника управляющего государственной собственностью Ле-Нормана д'Этиоля, племянника управляющего государственной собственностью Ле-Нормана де Турнегема, у которого мать ее была на содержании. Дочь была образована, хорошего поведения, мила, полна талантов и прелестей, от природы одарена умом и добрым сердцем. Я знал ее довольно хорошо и был даже поверенным ее романа.

Она призналась мне, что у нее всегда было тайное предчувствие, что ее полюбит король, и сама она почувствовала к нему горячее влечение. Мысль эта, которая могла бы показаться фантастичной в ее положении, основывалась на том, что ее часто возили смотреть на охоту короля в роще Сенар. Турнегем, любовник ее матери, имел дачу в окрестностях, и г-жа д'Этиоль часто каталась в хорошенькой коляске. Ко-

роль обратил на нее внимание и не раз посылал ей убитую дичь. Мать ее беспрестанно говорила ей, что она красивее Шатору, и старик Турнегем нередко восклицал: «Да, надо сознаться, что дочка г-жи Пуассон лакомый кусочек, хоть бы для короля!» Наконец, после того, как король очутился в ее объятиях, она сказала мне, что твердо верила в судьбу, и была права. Я провел с нею несколько месяцев в Этиоле в 1746 году, когда король был в походе. Это доставило мне такие награды, которых никогда не удаивались ни мои сочинения, ни мои услуги. Меня признали достойным сделаться одним из сорока ненужных членов Академии. Меня назначили историографом Франции, и король предоставил мне должность своего ординарного камергера. Я вывел отсюда заключение, что для того, чтобы добиться чего бы то ни было, гораздо лучше сказать несколько слов любовнице короля, чем написать сотню томов.

Как только я сделался, по-видимому, счастливым человеком, так собратья мои, парижские литераторы, накинулись на меня со всею яростью и со всем озлоблением, которые должен был возбуждать в них к себе человек, получающий все заслуженные им награды. С г-жою дю Шатле я по-прежнему был связан дружбой и любовью к науке. Мы жили вместе в Париже и в деревне. Сире лежит на дальней окраине Лотарингии: король Станислав жил в то время со своим маленьким и веселым двором в Люневиле. Несмотря на свою старость и на свое ханжество, он имел любовницу — маркизу де Буфлер. Сердце свое он делил между нею

и иезуитом, по имени Мену, самым наглым интриганом из всех попов, каких я только знал. Этот человек вытянул у короля Станислава, через посредство жены его, у которой он был духовником, около миллиона. Часть этих денег была употреблена на постройку великолепного дома в Нанси для него самого и для нескольких других иезуитов. Дому этому был пожалован капитал, дававший двадцать четыре тысячи франков в год: двенадцать для содержания стола Мену и двенадцать на раздачу, кому он захочет. Любовница короля долго не пользовалась подобными выгодами. Она с трудом вытягивала в то время у короля на свои тряпки, и тем не менее иезуит с завистью смотрел на ее долю и вообще терпеть не мог маркизы. Они были в открытой ссоре, и бедному королю каждый день по окончании обедни приходилось мирить свою любовницу с духовником. Наконец, наш иезуит, прослышав о г-же дю Шатле, которая была чудно сложена и еще довольно красива, задумал поставить ее на место маркизы де Буфлер. Станислав иногда подписывал кое-что; Мену подумал, что женщина-писательница гораздо более подходит ему — и вот он является в Сире, чтобы затеять эту милую интригу: он ухаживает за г-жею дю Шатле и объявляет нам, что король Станислав будет очень рад нас видеть, королю же, по возвращении говорит, что мы горим желанием приехать к его двору. Станислав посылает за нами г-жу де Буфлер. — И мы действительно провели в Люневиле целый 1749 год. Но случилось совершенно обратное тому, чего хотело его преподобие. Мы подружились

с г-жою де Буфлер, и иезуиту приходилось теперь бороться против двух женщин.

Жизнь при дворе в Лотарингии была довольно приятна, хотя и здесь было, как и везде, достаточно интриг и всяких сплетен. Понсе, епископ города Труа, с плохой репутацией и по уши в долгах, захотел к концу года примкнуть к нашему двору и увеличить наши неприятности. Говоря, что он пользовался дурной славой, я включаю сюда и славу его поведений и надгробных речей. Через посредство наших дам он добился звания главного священника короля, которому, в свою очередь, было лестно иметь у себя епископа на жалованье, да еще на очень маленьком жалованье. Однако этот епископ явился лишь в 1750 году. Он начал с того, что влюбился в г-жу де Буфлер, и его прогнали. Гнев его обрушился на Людовика XV, племянника Станислава: вернувшись в Труа он захотел играть роль в дурацкой истории исповедных билетов, выдуманных архиепископом Парижским, Бомоном. Он вступил в борьбу с парламентом и задевал короля. Это было плохое средство платить свои долги; но это было средство попасть под арест. Король Франции отправил его под конвоем в Эльзас и приказал заключить в немецкий монастырь. Но вернемся к тому, что касается меня.

Г-жа дю Шатле умерла во дворце Станислава, прохворав два дня. Мы все были так потрясены, что никто не подумал послать ни за местным священником, ни за иезуитом, чтобы причастить ее. Оно не узнала ужаса смерти, ее почувствовали только мы. Я был в ужасном горе. Добрый король

Станислав пришел в мою комнату утешать меня и плакать со мной. Не многие из собратьев его сделают это при подобных обстоятельствах. Он хотел удержать меня при себе; но Люневиль сделался для меня невыносим, и я вернулся в Париж.

Мне на роду было написано метаться от одного короля к другому, хотя я страстно любил свободу. Король Прусский, которому я часто говорил, что никогда не расстанусь для него с г-жою дю Шатле, во что бы то ни стало хотел привлечь меня к себе, когда избавился от своей соперницы. Он наслаждался в то время морем, приобретенным путем побед, и досуги его были заняты сочинением стихов или писанием истории своей страны и своих походов. Он был не на шутку убежден, что его стихи и его проза в сущности несравненно лучше моих, но считал, что я в качестве академика могу придать некоторый лоск его сочинениям, и старался заманить меня к себе самыми лестными обещаниями.

Возможно ли противиться королю — победителю, поэту, музыканту, вдобавок делающему вид, что меня любит. Мне и самому показалось, что я его люблю, и вот наконец я снова направил свой путь к Потсдаму в июне 1750 году. Я был принят великолепно. Меня поместили в покои, в которых прежде жил маршал Саксонский, в моем распоряжении были королевские повара, когда я хотел обедать у себя, и королевские кучера, когда мне хотелось кататься — все это было малейшей из оказываемых мне милостей. Ужины были весьма приятны. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что за ними говорилось много остроумного: король был ост-

роумен и вызывал остроумие. Самое удивительное при этом то, что я никогда не чувствовал себя более свободным за столом. Я работал каждый день два часа с его величеством; я исправлял все его работы, никогда не забывая усердно хвалить то, что в них было хорошего, в то время как вычеркивал то, что никуда не годилось. Я все поправки объяснял ему письменно, и эти письма составили ему руководство к риторике и поэтике для его личного употребления. Он воспользовался моими замечаниями, но его гениальный ум помогал ему гораздо более, чем мои уроки.

Придворный этикет меня не касался; делать визиты, исполнять какую-нибудь должность мне было не нужно. Я создал себе жизнь полную свободы и находил, что ничего более приятного не может быть. Фридрих, заметив, что у меня начинает кружиться голова, удвоил опьяняющие напитки, чтобы очаровать меня окончательно. Последним соблазном было письмо, посланное им из своей комнаты в мою. Любовница не может выражаться с большей нежностью. Он старался в этом письме рассеять опасение, внушаемые мне его саном и его характером. Там стояли, между прочим, следующие слова: «Как могу я сделаться причиной несчастья человека, которого уважаю, люблю, который пожертвовал для меня родиной и всем, что есть у человека самого дорогого? Я почитаю вас как наставника в красноречии. Я люблю вас как добродетельного друга. Какого рабства, какого несчастья, какой перемены можете вы опасаться в стране, где вас уважают так же, как у вас на родине, и в гостях у друга, одаренно-

го благодарным сердцем? Я относился с уважением к дружбе, связывавшей вас с г-жою дю Шатле; но после нее я был вашим старейшим другом. Я обещаю вам, что вы будете счастливы здесь, пока я жив». — Вот письмо, которое немногие государи способны написать.

Это был последний бокал, который меня опьянил окончательно. Словесные изъявления были еще более энергичны, чем письменные. У него была привычка странным образом выражать свою нежность к более молодым, чем я, фаворитам, и он, забывая на минуту, что я не был их возраста, и что рука моя некрасива, взял ее, чтобы поцеловать. Я поцеловал тогда его руку и сделался его рабом. Чтобы служить двум господам, необходимо было разрешение короля Франции. Король Прусский взялся выхлопотать это разрешение. Он написал моему королю по этому поводу. Я не мог себе представить, чтобы в Версале могли обидеться тем, что ординарный камергер, самое ненужное существо при дворе, сделался таким же ненужным камергером в Берлине. Мне дали полное разрешение, но были весьма недовольны, и мне этого не простили. Я разгневал против себя короля Франции, не сделавшись более приятным королю Пруссии, который в глубине души насмеялся надо мной.

И вот я очутился с серебряным ключом на кафтане, с крестом на шее и с двадцатью тысячами франков пенсии в кармане. Мопертюи со злости захворал, а я этого и не заметил. В Берлине был в то время врач по имени Ламметри, самый отъявленный атеист всех медицинских факультетов Европы;

впрочем, человек веселый, забавный, легкомысленный, знавший теорию не хуже других своих собратьев и, безусловно, самый плохой врач в мире на практике; но он, слава Богу, не практиковал. Он высмеял всех парижских профессоров и лично затронул в своих сочинениях многих лиц, которые этого ему не могли простить и добились указа об его аресте. Поэтому Ламметри бежал в Берлин, где всех забавлял своей веселостью. В своих писаниях он самым дерзким образом оскорблял мораль. Сочинения его понравились королю, который сделал его не своим доктором, а своим чтецом. Однажды по окончании чтения Ламметри, говоривший королю все, что ему приходило в голову, сказал ему, что он завидует моему положению и моему состоянию. «Полноте, — сказал ему король, — апельсин выжимают и бросают, выпив из него сок». Ля-Метри поспешил передать мне это прекрасное изречение, достойное Диониса Сиракузского.

С этих пор я решил припрятать апельсиновую корку. У меня было в запасе приблизительно триста тысяч ливров. Я не решился, разумеется, вложить этот капитал во что-либо во владениях Фридриха, а выгодно поместил его в земельные участки, которыми герцог Вюртембергский владел во Франции. У короля, распечатававшего мои письма, явилось подозрение, что я не рассчитываю остаться у него. А между тем страсть к стихотворству обуяла его так же, как царя Диониса. Мне приходилось беспрестанно исправлять его стихи и кроме того просматривать его «Историю Бранденбурга» и все, что он писал. Ламметри умер, съев у французского послан-

ника, милорда Тирконеля, целый пирог, начиненный трюфелями, после большого обеда. Говорили, что он перед смертью исповедовался. Король был возмущен и расспрашивал, как было дело. Его уверили, что это ужасная клевета, и что Ламетри умер так же, как жил, отрицая Бога и докторов. Его величество был доволен и тотчас сочинил ему надгробное слово, которое приказал своему секретарю Дорже прочитать от его имени на публичном собрании в Академии. Он дал, кроме того, пенсию в шестьсот ливров публичной женщине, которую Ламетри привез с собою из Парижа, оставив там жену и детей.

Мопертюи, знавший анекдот о выжатом апельсине, теперь принялся распространять слух о том, будто я сказал, что должность атеиста при короле вакантна. Эта клевета не удалась; но он прибавил к этому, что я нахожу стихи короля плохими, и это имело успех. Я заметил, что после этого ужины короля были менее оживленны; мне давали меньше стихов для исправления — я попал в полную немилость.

Я не имел ни малейшего желания оставаться в Берлине. Я всегда предпочитал свободу всему остальному. Немногие литераторы думают так. Большинство из них бедны, а бедность ослабляет мужество, и всякий философ при дворе делается таким же рабом, как и каждый слуга короны. Я чувствовал, как должна была не нравиться моя свобода монарху, более абсолютному, нежели турецкий султан. Надо сознаться, что в домашнем обиходе это был забавный король. Он протезировал Мопертюи и высмеивал его более,

чем кого бы то ни было. Он начал писать против него и прислал мне свою рукопись с одним из исполнителей его тайных утех, с неким Марвицем. Он поднял на смех выдуманную им дыру к центру земли, его метод лечения намазыванием тела смолой, путешествие к Северному полюсу, латинский город и подлость его Академии, не возражавшей против насилия, которому подвергся бедный Кениг. Но так как девизом его было: *никакого шума, кроме того, который делаю я сам*, то он и приказал сжечь все, что было написано по этому поводу, кроме своего собственного сочинения.

Я отослал ему его орден, его камергерский ключ, его пенсию. Тогда он сделал все, что мог, чтобы удержать меня, я же сделал все возможное, чтобы уехать от него. Он возвратил мне орден и ключ и хотел, чтобы я отужинал с ним. Итак, я еще раз ужинал под дамокловым мечом, после чего уехал с обещанием вернуться и с твердым намерением не видеть его никогда в жизни. — Таким образом, нас четверо бежали в короткое время: Шазо, Дарже, Альгаротти и я. Терпеть больше не было сил. Всякий знает, что в близости монархов приходится терпеть; но Фридрих уж слишком злоупотреблял своим преимуществом. Общество имеет свои законы, если это не законы льва и козы. Фридрих всегда преступал первый закон общества: никому не говорить ничего неприятного. Он же часто спрашивал своего камергера Польнитца, не переменить ли он веру еще в четвертый раз и предлагал сто экю за новое обращение. «Ах Боже мой, милый Польнитц, — говорил он, — я забыл, как звали того человека, ко-

торого вы обокрали в Гааге, продав ему поддельное серебро за настоящее: помогите-ка мне вспомнить». В том же роде было его обращение с бедным д'Аржаном. А между тем эти две жертвы остались. Польнитц, прожив все свое состояние, вынужден был глотать эти оскорбления, чтобы жить — другого хлеба у него не было, а у д'Аржана не было ничего, кроме его «Еврейских писем» и жены, по имени Кошуа. Она была плохая провинциальная актриса, такая некрасивая, что не могла заработать себе на жизнь никаким ремеслом, хотя и занималась несколькими. Что же касается Мопертюи, то так как он имел глупость поместить свой капитал в Берлине, не подумав, что лучше иметь сто экю в свободной стране, нежели тысячу в деспотическом государстве, ему поневоле приходилось оставаться в цепях, в которые он сам заковал себя. Оставив дворец Фридриха, я отправился на месяц к герцогине Саксен-Готской, самой доброй, самой кроткой, самой умной из всех принцесс, которая, слава Богу, стихов не писала. После нее я гостил с неделю у ландграфа Гессенского, который был еще дальше от поэзии, чем герцогиня Готская. Я отдохнул. Продолжая мой путь, я добрался до Франкфурта.

Во Франции надо быть или молотом, или наковальней: я родился наковальней. Унаследованное от родителей достояние уменьшается с каждым днем, потому что с течением времени цены на все повышаются и правительство не раз уже коснулось рент и денежных бумаг. Надо внимательно следить за всеми операциями, которые продельывает над госу-

дарственными финансами вечно задолженное и неустойчивое министерство. Такими операциями всегда кто-либо может воспользоваться, не прибегая ни к чьему покровительству, а на свете нет ничего более приятного, как составить самому свое богатство: первый шаг бывает труден, дальнейший же путь легок. Надо быть бережливым в молодости и тогда в старости, к собственному удивлению, находишь у себя капитал. В это время достаток особенно необходим; и как раз в это время я и наслаждаюсь им. Пожив у королей, я сам сделался королем у себя дома, несмотря на понесенные мною громадные потери. С тех пор, как я живу среди своей спокойной роскоши и в полной независимости, король Прусский снова вернулся ко мне: в 1755 году он прислал мне оперу, написанную им на сюжет моей трагедии «Меропа»: это, без сомнения, самое скверное из его произведений. С тех пор он стал писать мне письма. Я всегда состоял в переписке с его сестрой, маркграфиней Байрейтской, сохранившей ко мне неизменную благосклонность.

В то время как я наслаждался в своем убежище самой приятной жизнью, какую только можно представить себе, я испытывал некоторое философское удовлетворение, видя, что властители Европы не пользуются таким приятным спокойствием. Из этого я вывел заключение, что положение частного лица часто бывает предпочтительнее положения самых сильных монархов, как вы это сейчас увидите.

Англия затеяла в 1756 году поистине разбойничью войну с Францией из-за нескольких десятин снежных полей. В это

же время императрица и королева Венгрии выказала желание вернуть себе дорогую ее сердцу Силезию, отнятую у нее прусским королем. По этому поводу она вела переговоры с русской императрицей и польским королем, — только как с курфюрстом Саксонским, так как с поляками переговоров вести нельзя. Король Франции, с своей стороны, хотел выместить на ганноверских землях вред, причиняемый ему на море королем Англии. Фридрих, бывший в то время в союзе с Францией и глубоко презиравший наше правительство, предпочел вступить в союз с Англией и соединился с ганноверским домом, рассчитывая одной рукой помешать русским вступить в Пруссию, а другой — французам вторгнуться в Германию. Он ошибся в обоих предположениях; но у него была еще третья идея, в которой он не обманулся: он задумал занять, под предлогом дружбы, Саксонию и воевать с императрицей, королевой Венгрии, на деньги, отнятые у саксонцев. Маркграф Бранденбургский этим маневром изменил положение Европы. Король Франции, желая удержать его своим союзником, послал к нему герцога Нивернуа, человека остроумного, писавшего красивые стихи. Посольство герцога, пэра Франции и поэта, должно было, казалось бы, польстить Фридриху: он поднял короля Франции на смех и подписал договор с Англией в тот самый день, когда посланник приехал в Берлин. Он весьма учтиво обошел герцога и пэра и сочинил эпиграмму на поэта.

Урожденная Пуассон, г-жа Ленорман, маркиза Помпадур, была фактически первым министром Франции. Неко-

торые оскорбительные замечания по ее адресу со стороны Фридриха, не щадившего ни женщин, ни поэтов, уязвили маркизу в самое сердце и не мало способствовали тому перевороту в делах, который моментально соединил дома Франции и Австрии, считавшиеся в течение двухсот лет непримиримыми врагами. Французский двор, стремившийся в 1741 году раздавить Австрию, оказывал ей в 1756 году поддержку. Наконец, Франция, Россия, Швеция, Венгрия, половина Германии — все это поднялось против одного маркграфа Бранденбургского. Государь этот, дед которого с трудом мог содержать 20 тысяч человек пехоты, имел сто тысяч пеших и сорок тысяч конных солдат, отлично обученных и снабженных всем необходимым. Но ведь против него было 400 тысяч человек под ружьем!

В этой войне каждая сторона захватила прежде всего все, что могла захватить. Фридрих захватил Саксонию, Франция — владения Фридриха от Гельдерна до Миндена на Везере и завладела на некоторое время всем избирательным княжеством Ганноверским и Гессенским, союзным Фридриху. Русская императрица заняла всю Пруссию. Король Прусский потерпел поражение от русских; сам побил австрийцев и затем был ими побит в Чехии 18 июня 1757 года (при Коллине).

Казалось, потеря одного только сражения должна была совершенно уничтожить этого монарха. Теснимый со всех сторон русскими, австрийцами и французами, он сам считал себя погибшим. Маршал Ришелье заключил с Ганновером и Гессеном договор, похожий на договор Кавдинского ущелья⁴.



Фридрих II Прусский. Гравюра XVIII века

Войска их должны были бездействовать; маршал готовился уже вступить с 60-тысячным войском в Саксонию; принц Субиз должен был вступить в нее с другой стороны с 30 тысячами. Ему, кроме того, помогали австрийцы. Отсюда намеревались двинуться на Берлин. Австрийцы выиграли второе сражение и уже вступили в Бреслау. Один из их полководцев даже доходил до Берлина и обложил его контрибуцией. Казна прусского короля была почти истощена, и скоро у него не осталось бы ни одного селения. Его готовились объявить опальным в Империи; процесс его уже начался; он был объявлен бунтовщиком, и если бы он попался в руки неприятеля, то, по всей вероятности, был бы приговорен к смертной казни.

В таком ужасном положении ему пришло в голову покончить с собой. Он написал своей сестре, маркграфине Байрейтской, что хочет лишиться себя жизни. Но он не хотел закончить пьесу своей жизни, не написав стихов; страсть к поэзии была в нем сильнее ненависти к жизни. Поэтому он написал маркизу д'Аржанс длинное послание в стихах, сообщая ему о своем решении и прощаясь с ним. Он прислал мне это послание, написанное его собственной рукой. В нем попадаются двустушия, украденные у Шолье и у меня. Мысли в нем спутаны, стихи в общем плохи, но есть и не дурные. Написать послание в двести плохих стихов в том состоянии, в котором он находился — не шутка. Ему хотелось, чтобы сказали потом, что он вполне сохранил присутствие духа и свободу мысли в такую минуту, когда другие смертные обыкновенно

плохо владеют собой. Письмо его ко мне выражает те же чувства; но в нем менее «мирт и роз» и «глубокой печали». Я старался в прозе отклонить его от решения покончить с собой, как он говорил, и мне не стоило большого труда убедить его сохранить жизнь. Я посоветовал ему вступить в переговоры с маршалом Ришелье, подражая герцогу Камберлендскому. Одним словом, я позволил себе все, что можно позволить себе по отношению к отчаявшемуся поэту, готовому потерять свое царство.

Он действительно написал маршалу Ришелье; но, не получив ответа, решился напасть на нас и сообщил мне, что готовится сразиться с принцем Субиз. Письмо его оканчивалось стихами, более соответственными его положению, его достоинству, его мужеству и его уму.

Выступая против французских и императорских войск, он написал маркграфине Байрейтской, своей сестре, что идет на смерть. Но он был счастливее, нежели говорил и думал. 5 ноября 1757 года он дождался неприятеля в довольно выгодном месте, при Росбахе, на границе Саксонии. Так как Фридрих все еще говорил о том, что хочет быть убитым, то он хотел, чтобы его брат, принц Генрих, выполнил его план, став во главе пяти батальонов пруссаков, которые должны были вынести первый напор неприятельских армий, тогда как артиллерия его будет их обстреливать, а его кавалерия нападет на их конницу. Действительно, принц Генрих был легко ранен в шею, и это был, кажется, единственный пруссак, раненный в этот день. Французы и австрийцы бежали при первом зал-

пе. Это было самое полное поражение, когда-либо отмеченное историей. Битва при Росбахе надолго останется знаменитой. Тридцать тысяч французов и двадцать тысяч императорских войск обратились в постыдное бегство при встрече с пятью батальонами и несколькими эскадронами. Поражения при Азенкуре, Кресси и Пуатье не были столь унижительными. Настоящей причиной этой странной победы были дисциплина и обучение войска, установленные отцом и укрепленные сыном. Прусское военное обучение усовершенствовалось в течение пятидесяти лет. Ему захотели подражать как во Франции, так и в остальных государствах; но в три-четыре года нельзя было сделать с плохо поддающимися дисциплине французами то, что сделано было в пятьдесят лет с пруссаками. Во Франции меняли даже маневры чуть ли не на каждом смотре, так что офицеры и солдаты, плохо обучившись новому, совершенно несходным между собой приемам, ровно ничего не знали и не имели в сущности ни дисциплины, ни знания. Поэтому при одном лишь виде пруссаков все побежали без оглядки, и счастье дало возможность Фридриху в течение четверти часа перейти от отчаяния к радости и славе. Однако он сильно опасался, что счастье это будет непродолжительным. Он боялся, что должен будет выдержать всю тяжесть могущества Франции, России и Австрии, и ему хотелось поссорить Людовика XV с Марией-Терезией.

Роковая битва при Росбахе вызвала во всей Франции ропот против договора аббата Берни с венским двором. Кар-

динал де Тонсен, архиепископ Лионский, сохранивший еще титул первого министра, вел частную переписку с королем Франции: он более, чем кто-либо, был противником союза с австрийским двором. Он оказал мне в Лионе такой прием, которым я, как он знал, не мог остаться довольным. Однако страсть вмешиваться в интриги, не покидавшая его и на покой и вообще не оставляющая, как говорят, людей, пользовавшихся однажды значением, заставила его войти со мной в дружбу с целью побудить маркграфиню Байрейтскую довериться ему и отдать в его руки интересы ее брата, короля. Ему хотелось помирить прусского короля с французским и тем восстановить мир. Маркграфиню и брата ее нетрудно было склонить к этим переговорам, и я взял их на себя тем охотнее, что предвидел полную неудачу.

Маркграфиня написала кардиналу от имени своего брата, короля. Через мои руки проходили все письма маркграфини и кардинала. Я имел удовольствие быть посредником в этом важном деле и еще, может быть, большее удовольствие предвидеть, что мой кардинал готовит себе большие неприятности. Он написал прекрасное письмо королю и переслал ему письмо маркграфини, но, к его удивлению, король весьма сухо ответил ему, сообщив, что статс-секретарь иностранных дел сообщит ему о его решении. И действительно аббат Берни продиктовал и отправил кардиналу ответ, который тот должен был дать маркграфине, — это был резкий отказ вступить в переговоры. Кардинал должен был подписать подлинник письма, которое прислал ему аббат Берни. При-

слав мне это печальное письмо, оканчивавшее все хлопоты, он умер от огорчения две недели спустя.

Я никогда не мог понять, как это умирают от огорчения и как министры и старые кардиналы, у которых такая жесткая душа, бывают настолько чувствительны, чтобы быть пораженными насмерть маленькой неприятностью. Я имел намерение посмеяться над ним, досадить ему, но вовсе не хотел уморить его.

Ганноверцы, брауншвейгцы, гессенцы не были столь верными своим договорам, и это им послужило на пользу. Они условились с маршалом Ришелье, что не будут служить против нас, что они перейдут обратно Эльбу, на которую их прогнали, они нарушили свой договор, как только узнали, что мы разбиты при Росбахе. Отсутствие дисциплины, дезертирство, болезни уничтожали нашу армию, и результатом всех наших военных операций оказалось весной 1758 года то, что мы потеряли в Германии триста миллионов деньгами и пятьдесят тысяч людьми, сражаясь за Марию Терезию, т.е. столько же, сколько в войне 1741 года, когда сражались против нее. Король Прусский, разбив нашу армию при Росбахе в Тюрингии, двинулся против австрийских войск, стоявших за шестьдесят миль оттуда. Французы могли бы еще вступить в Саксонию, так как победители были в другом месте Германии, и ничто не остановило бы французское войско, но они побросали оружие, растеряли пушки, боевые запасы, съестные припасы, а главное, потеряли голову — и рассеялись. С трудом были собраны остатки войск, Фридрих же,

Мемуары Вольтера

месяц спустя, день в день, выигрывает близ Бреслава новое сражение, более значительное и при большем сопротивлении австрийцев. Он берет назад Бреслау и пятнадцать тысяч пленных, остальная Силезия присоединяется к нему; Густав Адольф не совершал более блестящих подвигов. Как было не простить Фридриху его стихов, его коварных шуток и даже его прегрешений против женского пола. Все недостатки человека стушевались перед славой героя.

Делис, 6 ноября 1759 г.

Я забросил эти «Мемуары», считая их столь же ненужными, как и «Письма» Вейля к своей дорогой матушке, как «Жизнь Сент-Эвремона», описанная Демезо, и автобиография аббата де Монтон. Но многое, что кажется мне забавным или новым, снова внушает мне нелепое желание говорить с самим собой о себе.

Я вижу из моих окон город, где властвовал Жан Шовен — пикардиец, прозванный Кальвином, и ту площадь, где он приказал сжечь Серве ради спасения его души. Почти все священники этой страны думают теперь так же, как Серве, и идут даже далее, чем он. Они вовсе не веруют в Христа, как в Бога, и те же господа, которые в прежние времена уничтожили чистилище, теперь смягчились до того, что прощают души, заключенные в ад. Они утверждают, что их мучения не будут вечны, и таким образом, ад, в который они более не верят, они превратили в чистилище, в которое не верили прежде. Это недурной переворот в истории

человеческого ума. Можно бы было из-за этого произвести резню, зажечь костры, устроить Варфоломеевскую ночь, а между тем, люди даже не поругались, до такой степени изменились их нравы. Один только из этих проповедников отчитал меня за мое замечание, что пикардиец Кальвин был очень жестокий человек, который совсем напрасно сжег Серве. Полюбуйтесь, пожалуйста, на противоречие сего мира: эти люди почти открыто принадлежат к секте Серве, а меня ругают за то, что я порицаю Кальвина, сжегшего его на медленном огне из зеленых ветвей.

Они формальным образом хотели доказать мне, что Кальвин был добрый человек и просили Женевский совет сообщить им документы, относящиеся к процессу Серве. Однако совет был разумнее их и отказал им в выдаче бумаг. Им не позволили даже писать против меня в Женеве. Я смотрю на эту маленькую победу как на доказательство прогресса мысли в наш век. — Философия одержала в Лозанне еще более значительную победу над своими врагами. Некоторые пасторы вздумали скомпилировать какую-то дрянную книгу против меня, как они выразились, во славу христианской веры. Я без труда нашел средство арестовать экземпляры и изъять их из продажи, по решению суда: это был, вероятно, первый случай, когда теологов заставили молчать и отнестись с уважением к философу. Судите же, как мне не питать страстной любви к этой стране! Мыслящие существа, уверяю вас, что весьма приятно жить в такой республике, где можно сказать правителям ее: «Приходите завтра ко мне обе-

дать». Тем не менее, я все еще не чувствовал себя достаточно свободным, и, по-моему, особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что я, дабы быть совершенно свободным, купил себе землю во Франции. Такая удобная для меня собственность находилась в одной миле от Женевы и некогда пользовалась всеми привилегиями этого города. Я имел счастье получить от короля патент, сохранявший за мной эти привилегии. Одним словом, я так хорошо устроил свои дела, что сделался совершенно независимым одновременно и в Швейцарии, на женевской территории, и во Франции. О свободе много толкуют, но мне кажется, что нет в Европе человека, который приобрел бы себе такую свободу, как я. Пусть следует моему примеру, кто может.

Разумеется, я не мог выбрать лучшего времени для того, чтобы добиваться этой свободы, а также спокойствие вдали от Парижа. Там люди были столь же безумны и так же ожесточенно спорили о пустяках, как во времена Фронды. Не хватало только гражданской войны; но так как в Париже не было ни короля рынка, каким был герцог Бофор, ни епископа, благословляющего кинжалом, то дело ограничивалось мелочными придирками, начавшимися банковыми билетами на тот свет, выдуманными, как я уже сказал, архиепископом парижским Бомоном. Это был человек упорный, делающий зло от всего сердца, от избытка рвения, помешанный, блаженный, во вкусе Фомы Кентерберийского. Ссора разгорелась из-за места в госпитале, на которое парламент считал себя вправе назначать от себя и которое архиепископ

считал священным, зависящим исключительно от Церкви. Весь Париж принял участие в споре. Маленькие янсенистские и молинистские партии не щадили друг друга. Король вздумал поступить с ними так, как поступают иногда с людьми, которые дерутся на улице: их обливают холодной водой, чтобы разогнать. Он объявил, что обе партии не правы, как оно, разумеется, и было; но это только подлило масла в огонь. Он выслал архиепископа, выслал парламент; но господин не должен прогонять своих слуг прежде, чем найдет себе других. Двор вскоре принужден был вернуть парламент, так как палата, из государственных советников и докладчиков, учрежденная под названием Королевской палаты для судопроизводства, не могла найти себе применения. Парижане взяли себе в голову, что не будут судиться иначе, как перед судом, называемым парламентом. Поэтому все члены его были призваны обратно и вообразили себе, что одержали победу над королем. Они дали ему отеческое наставление, что в другой раз не следует изгонять парламент, так как, говорили они, это может служить дурным прецедентом. Одним словом, они вели себя так, что король решил кассировать хотя бы одну из их палат и реформировать остальные. Тогда все эти господа подали в отставку, за исключением главной палаты. Начался ропот: в суде открыто осуждали короля.

К сожалению, пламя, обуявшее все головы, подожгло мозги одного лакея, по имени Дамиен, часто входившего в главную залу. Процесс этого фанатика суда доказал, что он вовсе не имел намерения убить короля, а хотел лишь слегка наказать

его. Чего только ни приходит человеку в голову! Этот несчастный был прежде сторожем в иезуитском училище, где я нередко видел, что ученики пускают в ход перочинные ножи, а сторожа отвечают им тем же. Итак, Дамиен отправился в Версаль и ранил короля, окруженного своими телохранителями и придворными, маленьким ножичком, которым чинят перья (5 января 1755 г.). В первую минуту, под впечатлением ужаса, это преступление приписали иезуитам, которым, как говорили, такие дела были издавна привычны. Преступник, естественно, подлежал суду главного придворного судьи, так как покушение совершено было в стенах королевского дворца. Несчастный начал с того, что обвинил семь членов следственной комиссии. Стоило только оставить обвинение в силе и казнить преступника: этим король навсегда делал парламент ненавистным и приобретал над ним преимущество столь же прочное, как и монархия. Полагают, что д'Аржансон уговорил короля позволить парламенту вести судопроизводство. Он получил за это хорошую награду: неделю спустя он был лишен имущества и сослан. — Король имел слабость дать крупные пенсии советникам, которые вели процесс Дамиена, как будто они оказали выдающуюся и трудную услугу. Такой образ действий внушил еще более смелости господам следователям. Они вообразили себя очень важными лицами, и в них пробудилась мечта сделаться представителями нации и опекунами королей. Когда процесс окончился, им нечего было более делать, и они принялись преследовать философов.

Омер Жоли де Флери, главный адвокат Парижского парламента, явил собой перед собранием палат полнейшее тор-

жество невежества, недобросовестности и лицемерия. Несколько ученых литераторов соединились для составления громадного словаря, имевшего целью просвещение человеческого ума. Это было большое коммерческое предприятие для книжной торговли Франции. Канцлер, министры оказывали содействие этому прекрасному предприятию. Появилось уже семь томов издания; их переводили на итальянский, английский, немецкий, голландский языки, и это сокровище, открытое французами для всех народов, могло считаться делом, приносящим нам наивысшую честь, так как прекрасные статьи «Энциклопедического словаря» вполне искупали плохие, попадающиеся в довольно большом числе. Это издание можно было упрекнуть разве только в излишнем фразерстве, которого, к сожалению, придерживались авторы, желавшие, во что бы то ни стало, увеличить размеры книги. В остальном же произведения этих авторов прекрасны.

И вот Омер Жоли де Флери 23 февраля 1759 года обвинил этих людей в том, что они атеисты, деисты, развратители юношества, бунтовщики и т. п. В доказательство обвинений Омер цитирует апостола Павла, процесс Теофиля и Авраама Шоме⁵. Омер только не прочел книги, против которой он говорил, а если он читал, то значит был круглый дурак. Он жалуетсЯ суду на статью «Душа», проповедующую, по его мнению, чистейший материализм. Заметьте, что статья «Душа» самая плохая из всей книги, написана одним доктором Сорбонны (аббат Ивон), который из кожи лезет вон, чтобы без смысла и без толка ратовать против материализма. И вся

речь Омера Жоли де Флери была соткана из подобных промахов. Итак, он отдает под суд книгу, которой не читал или которой не понял, и весь парламент, по просьбе Омера, осуждает весь труд не только без рассмотрения его, но даже не прочитав ни единой страницы.

Издатели имели привилегию от короля. Парламент, разумеется, не имеет права переделывать привилегий, данных его величеством; его ведению не подлежат ни решения совета, ни все, что скреплено печатью канцлера; а между тем, он присвоил себе право осудить то, что одобрил канцлер, и назначил советников, чтобы разрешать вопросы по геометрии и метафизике, заключающиеся в «Энциклопедии». Канцлер с более твердым характером кассировал бы приговор парламента, как совсем не компетентного суда; но канцлер Ламуаньон отменил привилегию, чтобы избежать позора — видеть преданным суду и осужденным то, что он разрешил своей властью. Можно бы подумать, что это относится к временам аббата Гарасса и указов против рвотного, а между тем это случилось в самый просвещенный век, когда либо бывший во Франции. Это оправдывает поговорку, что довольно одного дурака, чтобы обесчестить нацию. При подобных условиях каждый без труда признает, что философу в Париже жить нельзя, и что Аристотель поступил умно, удалившись в Халкиду в то время, когда фанатизм свирепствовал в Афинах. К тому же звание литератора в настоящую минуту в Париже немногим выше звание фигляра, а звание ординарного камергера, которое король оставил за

мной, тоже немногого стоит. Люди ужасно глупы, и мне кажется гораздо лучше построить прекрасный замок, как сделал я, давать в нем театральные представления и жить в свое удовольствие, нежели выносить в Париже преследование, как Гельвециус, от людей, заседающих в суде парламента, и от людей, заведующих конюшнями Сорбонны. Так как я, конечно, не мог сделать ни людей более разумными, ни парламент менее педантичным, ни теологов менее нелепыми, то продолжал жить счастливо вдали от них.

Мне как будто даже стыдно быть счастливым, наблюдая из гавани бури; я вижу: Германию, залитую кровью, Францию разоренную в конец, нашу армию, наш флот разбитыми, вижу министров, увольняемых один за другим без всякой пользы для наших дел; король Португальский убит, не лакем, а грандами, и на этот раз иезуиты не могут уже сказать: это не мы сделали. Они сохранили свои права, а с тех пор было точно доказано, что святые отцы благочестиво вложили нож в руки отцеубийцы. В свое оправдание они говорят, что, будучи царями в Парагвае, они поступили с королем Португальским как равные с равным.

Я хочу здесь рассказать маленькое приключение, наиболее странное из когда-либо случавшихся на земле с тех пор, как существуют поэты и короли. Фридрих, долгое время охранявший границу Силезии в совершенно неприступной местности, соскучился и, чтобы убить время, сочинил оду против Франции и против короля. В начале 1759 года он прислал мне эту оду, подписанную: *Фридрих*, вместе с тол-

стым пакетом стихов и прозы. Открываю пакет и вижу, что он был уже вскрыт раньше, чем дошел до меня: очевидно, по дороге его распечатали. Я задрожал от страха, прочитав эти стихи, оскорбительные для короля и маркизы Помпадур, между которыми попадались и весьма недурные или такие, которые могут сойти за хорошие. К несчастью, всем было известно, что я поправлял стихи прусского короля. Так как пакет был вскрыт по дороге, то стихи проникнут в публику, король Франции подумает, что я их автор, и я окажусь виновным в оскорблении величества, а что еще хуже, — в оскорблении г-жи де Помпадур.

В этом затруднительном положении я пригласил к себе французского резидента в Женеве и показал ему пакет; он признал, что пакет был вскрыт раньше. Он думает, что в таком деле, за которое можно поплатиться головой, мне ничего не остается, как только послать этот пакет первому министру, герцогу Шуазелю. При других условиях я бы этого не сделал; но надо было отвратить грозящую мне гибель. Я давал возможность двору ознакомиться с характером его врага. Но я знал, что герцог Шуазель не злоупотребит моим доверием и ограничится тем, что убедит короля Франции в том, что прусский король его непримиримый враг, которого, по возможности, необходимо уничтожить. Герцог Шуазель этим не ограничился. Это человек большого ума, он пишет стихи и имеет друзей, которые также пишут стихи. Он отплатил прусскому королю той же монетой и прислал мне оду против Фридриха, столь же злую и ядовитую, как и ода Фридриха против нас.

Прислав мне этот ответ, герцог уверял меня, что напечатает его, если король прусский напечатает свою оду, и что мы побьем Фридриха пером так же, как надеемся побить его оружием. Я мог бы, если бы захотел, доставить себе это удовольствие — видеть, как король Французский и король Прусский ведут между собой войну стихами — это было бы еще никем в мире невиданное зрелище. Но я доставил себе иное удовольствие, выказав себя благоразумнее Фридриха: я написал ему, что ода его прекрасна, но что он не должен отдавать ее на суд публики; ему этой славы не нужно, и он не должен закрывать себе пути к примирению с королем Франции, не должен окончательно озлоблять его и принуждать напрямч все свои усилия, чтобы отомстить. Я прибавил, что моя племянница сожгла его оду, смертельно опасаясь, чтобы ее не приписали мне. Он поверил, поблагодарил меня и только слегка упрекнул за то, что я сжег самые лучшие стихи, какие только он написал в жизни. Герцог Шуазель, с своей стороны, сдержал слово и не обнародовал своей оды.

Чтобы довершить эту шутку, я вздумал положить в основу европейского мира эти два стихотворения, которые должны были продлить войну до тех пор, пока Фридрих не будет побежден. Эта идея родилась в моей голове благодаря переписке с герцогом Шуазелем и показалась мне столь забавной, столь достойной того, что происходило в то время, что я ухватился за нее. Я доставил сам себе удовольствие доказывать на деле, как малы и слабы главные деятели, двигающие судьбы государств.

Герцог де Шуазель написал мне несколько официальных писем, составленных таким образом, чтобы не внушить Австрии опасений против Франции, Фридрих же старался писать мне такие, которые не могли бы его поссорить о лондонским двором. Эта щекотливая процедура все еще продолжается, она похожа на ужимки двух котов, которые, с одной стороны, выставляют бархатную лапку, а с другой — выпускают когти. Прусский король, потерпев поражение от русских и потеряв Дрезден, нуждается в мире; Франция, разбитая на суше ганноверцами, а на море англичанами и потерявшая весьма нехоти свои деньги, вынуждена прекратить эту разорительную войну.

Делис, 27 ноября 1759 г.

Я продолжаю. Происходят самые удивительные вещи. Король Прусский писал мне 17 ноября: «Напишу вам более из Дрездена, где буду через три дня». А на третий день он был разбит маршалом Дауном и потерял 18 тысяч человек. Все, что я вижу, похоже на басню «Кувшин с молоком». Наш великий моряк Беррье, бывший прежде полицейским приставом в Париже и с этой должности попавший прямо на пост статс-секретаря и морского министра, никогда не видел другого флота, кроме галиота в Сен-Клу и дилижанса в Оксер, — Беррье, говорю я, забрал себе в голову соорудить эскадру и сделать высадку в Англию. Но только наш флот успел высунуть свой нос из Бреста, как был побит англичанами, разбит о скалы, уничтожен бурями и поглощен морем. Глав-

ным контролером финансов у нас был некий Силуэт, известный только тем, что перевел несколько стихов Попа. Его считали орлом; но менее, чем в четыре месяца, орел превратился в ворону. Он нашел секрет уничтожить кредит до такой степени, что в государстве вдруг не оказалось денег для уплаты войскам. Король был принужден послать свою посуду на монетный двор: большая часть государства последовала его примеру.

12 февраля 1760 г.

Наконец, после нескольких коварных проделок прусского короля, как, например, посылка в Лондон доверенных ему мною писем или попытка поссорить нас с нашими союзниками — коварства, позволительные могущественному государю, в особенности в военное время, — я получаю вдруг от короля Прусского мирные предложение в сопровождении стихов — без этого он обойтись не может. Посылаю их в Версаль, сомневаясь, чтобы их приняли: он не хочет ничего уступать и предлагает, чтобы для вознаграждения курфюрста Саксонского ему дали Эрфурт, принадлежащий курфюрсту Майнцкому: ему всегда надо кого-нибудь обобрать — такова его манера. Увидим, что выйдет из его замыслов, а главное — из предстоящей войны.

Так как к этой великой и страшной трагедии всегда при­мешивается комический элемент, то в Париже напечата­ли *Поэзии* короля Прусского. В них есть послание к Кейту, в котором автор сильно насмехается над бессмертием души

Мемуары Вольтера

и над христианами. Ханжи, этим недовольные, кальвинистские пасторы ропщут. Эти педанты смотрели на него, как на поддержку религии; они восхищались им, когда он заключал в тюрьмы лейпцигских судей и продавал их должности, чтобы выручить деньги. Но с тех пор, как он перевел несколько отрывков из Сенеки, Лукреция и Цицерона, они смотрят на него как на чудовище. Попы способны сделать святым Картуша⁶, если бы он стал богомольным.



Биографический очерк

*Исторический комментарий,
составленный под редакцией
Вольтера его секретарем Ваньером
в 1776 году, за два года
до смерти Вольтера*

В этих комментариях к жизни писателя я постараюсь говорить лишь о том, что может быть полезным для литературы, а главное, рассказать факты только на основании документов. Из обвинений и поистине бесчисленных восхвалений Вольтера мы остановимся лишь на тех, которые подтверждаются фактами.

Одни говорят, что Франсуа де Вольтер⁷ родился 20 февраля, другие — 20 ноября 1694 года; существуют его медали, на которых отчеканены обе даты. Он не раз говорил нам,

что при рождении его не считали жизнеспособным. Его окрестили наскоро, церемония же крещения откладывалась в течение нескольких месяцев.

Хотя мне кажется, что нет ничего скучнее подробностей детской и школьной жизни, я, однако, должен заметить, что — по свидетельству его собственных записок и по общераспространенным слухам, — он уже в двенадцатилетнем возрасте написал стихотворение, свидетельствовавшее о недетском развитии его ума. Аббат де Шатонеф, большой друг знаменитой Нинон де Ланкло, представил ей мальчика, и эта весьма недюжинная женщина оставила ему 2 000 франков «на книги». Сумма эта была выплачена ему в точности.

Надо бы думать, что с этих пор влечение юноши к поэзии утвердилось окончательно. Однако сам он не раз говорил, что решению его способствовало, главным образом, то, что когда, по окончании курса в училище, отец его — бывший казначеем счетной палаты, — отправил его изучать законы в школу правоведения, юноша был так возмущен способом преподавания юриспруденции в этом заведении, что одно уже это обстоятельство побудило его всецело посвятить себя литературе.

Несмотря на свою юность, он был принят в обществе аббата Шолье, маркиза де ля Фар, герцога Сюлли, аббата Куртена. Он не раз говорил нам, что отец считал его погибшим, потому что он посещает высшее общество и пишет стихи.

На восемнадцатом году он начал писать трагедию «Эдип», в которой хотел, в подражание древнегреческой трагедии,

ввести хоры. Но актеры, служившие в то время при театре, не пожелали играть пьесу на сюжет, который уже раньше использован был Корнелем, и «Эдип» Вольтера был поставлен лишь в 1718 году, да и то только благодаря протекции. Молодой человек, который вел весьма рассеянный образ жизни, ни мало не заботился о том, будет ли иметь успех его пьеса. Он нередко дурачился на сцене и однажды, в самый трагический момент, в роли главного жреца, вздумал держать исполнителя этой роли за шлейф. Тогда жена маршала де Виллара, сидевшая в первой ложе, спросила, что это за молодой человек, который позволяет себе такие выходки, очевидно, для того, чтобы провалить пьесу? Ей ответили, что это сам автор. Она позвала его к себе в ложу, и с тех пор он оставался преданным другом маршала и его супруги до конца их жизни.

В поместье Виллар он был представлен герцогу де Ришелье и приобрел его расположение, оставшееся неизменным в течение шестидесяти лет.

Он начал писать «Генриаду» в Сент-Анже у управляющего финансами г-н де Комартен после того, как написал «Эдипа», и раньше, чем эта трагедия была поставлена на сцену; я не раз слышал от него, что, когда он начал писать эти два произведения, он не рассчитывал окончить их и не знал хорошенько ни правил трагедии, ни законов эпической поэзии. Но, пораженный тем, что рассказывал ему о Генрихе IV весьма сведущий в истории почтенный старик г-н де Комартен, страстный поклонник этого короля, Вольтер начал писать поэму в восторженном порыве, не обдумав ее как сле-

дует. Однажды он прочитал несколько песен поэмы в доме своего близкого друга, президента де Мезон. Слушатели рассердили его своими замечаниями, и он бросил рукопись в огонь. Президент Эно с трудом вытащил ее из пламени. «Помните, — говорил он потом в одном из своих писем к Вольтеру, — что это я спас «Генриаду» и что это стоило мне пары прекрасных манжет». Копии этой поэмы, которая была еще не разработана, несколько лет ходили по рукам. Затем она была напечатана с большими пробелами под заглавием «Лига».

В Париже все поэты и несколько ученых напали на него. Против него появилось двадцать брошюр; «Генриаду» играли на балаганных подмостках. Бывшему епископу де Фрежюс, воспитателю короля, сказали, это неприлично и даже преступно хвалить адмирала Колиньи и королеву Елизавету. Интрига против него была настолько сильна, что враги его побудили кардинала де Висси, бывшего в то время президентом Собрании духовенства, возбудить процесс против сочинения. Однако до такого странного процесса дело не дошло. Молодого автора эти интриги и удивили, и оскорбили. Его весьма рассеянный образ жизни не давал ему возможности сблизиться с литературным миром. Он не умел бороться интригой против интриги, что, как говорят, крайне необходимо в Париже, когда желаешь достигнуть чего бы то ни было.

В 1772 году он дал трагедию «Мариамна». Мариамну отравляет Ирод и когда она подносит чашу с ядом к устам, враждебная партия закричала: «Королева пьет!»⁸ и провали-

ла пьесу. Эти беспрерывные преследования побудили его напечатать в Англии «Генриаду», для которой он не мог добиться во Франции ни успеха, ни покровительства.

Король Георг I, а в особенности принцесса Уэльская, сделавшаяся впоследствии королевой, собрали для него колоссальную подписку, что и послужило началом его богатства, так как возвратившись во Францию в 1728 году он поместил свои деньги в лотерею, основанную генеральным контролером финансов г-ном Дефором. В виде билетов выдавались ренты на Городскую Думу, а выигрыши выплачивались чистыми деньгами. Таким образом, общество, которое скупило бы все билеты, выиграло бы миллион. Он сделался членом многочисленной компании, и счастье улыбнулось ему. Это рассказывал мне один из членов, и я сам убедился в этом по записям в книгах. Господин де Вольтер писал этому человеку: «Дабы разбогатеть в этой стране, стоит только прочитывать постановление совета. Редко бывает, чтобы в области финансов министр не был принужден делать такие распоряжения, которыми не попользовались бы частные лица».

Это не помешало ему, однако, заниматься литературой, которая была его преобладающей страстью. В 1730 году он дал своего «Брута», которого я считаю наиболее сильной из его трагедий, не исключая и «Магомета». Эта трагедия подверглась многим нападкам. В 1732 году я присутствовал на представлении «Заиры», и несмотря на то, что в театре много плакали, ее чуть не освистали. Ее пародировали в Италья-

янской комедии и в балагане. Ее называли *пьесой подкидышей* и *Арлекином на Парнасе*.

Когда один академик предложил г-на де Вольтера в заместители вакантного в то время места в Академии, о котором, впрочем, наш писатель и не помышлял, г-н де Боз ответил, что автор «Брута» и «Заиры» никогда не может попасть в Академию.

Он был тогда в связи со знаменитой маркизой дю Шатле, и они вместе изучали «Начала» Ньютона и систему Лейбница. Они несколько лет прожили в Сире — в Шампани. Здесь жил целых два года также знаменитый математик Кениг. Г-н де Вольтер выстроил там галерею, где производились все в то время известные опыты со светом и с электричеством. Однако эти занятия не помешали ему дать 27 января 1736 года трагедию «Альзира», или «Американцы», имевшую большой успех. Он приписал эту удачу своему отсутствию. Он говорил: *Laudantur ubi non sunt, sed cruciantur ubi sunt*. («Отсутствующих хвалят, а присутствующих порицают»).

С особенной яростью накинулся на «Альзиру» бывший иезуит Дефонтэн. Это довольно странная история: Дефонтен работал в «Журнале ученых» под руководством аббата Биньона и был уволен в 1723 году. Он стал издавать нечто вроде газеты за свой счет. Этот человек был то, что г-н де Вольтер называет «фолликуляр»⁹. Нравы его были известны всем. Его застали на месте преступления с маленькими савоярами и посадили в Бисетр¹⁰. Против него начался уже процесс, и его хотели сжечь, потому что Париж нуждался в подобном

примере. Господин де Вольтер выхлопотал для него покровительство маркизы де При. У нас имеется еще в руках одно из писем, которые Дефонтен писал своему издателю. «Я никогда не забуду, чем я вам обязан: доброта вашего сердца превышает ваш ум; вся моя жизнь должна быть посвящена выражению моей благодарности к вам. Я умоляю вас еще о том, чтобы выхлопотать мне отмену приказа, который освободил меня из Бисетра и высылает за тридцать лье от Парижа».

А две недели спустя тот же человек печатает основанный на клевете памфлет против того, которому он обязывался посвятить свою жизнь. Это я узнаю из письма г-на Тиерио от 16 августа, письма, напечатанного в том же сборнике. Это тот самый аббат Дефонтен, который, чтобы оправдать себя, говорил графу д'Аржансону: «Ведь мне же жить надо», — и которому граф д'Аржансон отвечал: «Не вижу в том необходимости». Это духовное лицо, после своего пребывания в Бисетре, уже не обращалось к маленьким трубочистам. Теперь Дефонтэн воспитывал в тех же принципах неконформиста и фолликуляра — юных французов. Он учил их писать сатиры и сам сочинял с ними позорные честь пасквили под заглавием «Вольтеромания» и «Вольтериана». Это был сброд нелепых басен, о которых можно судить по одному из писем герцога Ришелье за его собственноручной подписью. Оригинал этого письма отыскан у нас. Вот подлинные слова письма: «Книга эта пошла и плоска. Самое удивительное в ней то, что там говорится, будто г-жа де Ришелье подарила вам сто луи и карету при обстоятельствах, достойных

автора книги, но не вас. Однако этот замечательный человек забывает, что я был в то время вдовцом и женился лишь пятнадцать лет спустя» Подписано: *Герцог Ришелье* 8 февраля 1739 года.

Господин де Вольтер никогда даже и не пользовался всеми имевшимися у него подлинными доказательствами, и они несомненно погибли бы в ущерб его памяти, если бы мы не нашли их случайно среди хаоса его бумаг.

Мне попало еще одно письмо министра иностранных дел маркиза д'Аржансона, который пишет: «Этот аббат Дефонтен дурной человек; его неблагодарность еще хуже тех преступлений, которые дали вам повод оказать ему услугу. 7 февраля 1739 года».

Вот с какими людьми приходилось иметь дело г-ну де Вольтеру. Он называл их «литературной сволочью». «Они живут, — говорит он, — пасквилями и преступлениями».

И действительно, мы видим, что подобного рода субъект, по имени аббат Маккарти, утверждавший, что он происходит от дворянского рода ирландских Маккарти, и считавший себя литератором, занял у него довольно крупную сумму и с этими деньгами отправился в Константинополь, где перешел в магометанство. По этому поводу г-н де Вольтер сказал: «Маккарти доехал только до Босфора; Дефонтен же пошел дальше — к берегам Содомского озера».

Однако все неприятности, невзгоды, клеветы, которые сыпались на него со всех сторон при появлении каждой пьесы, очевидно, не могли отвратить его от склонности к лите-

ратуре, так как он выпустил 10 октября 1736 года комедию «Блудный сын», хотя и не под своим именем, предоставив доходы с этой пьесы двум молодым ученикам своим — Лигану и Ламару, которые приехали в Сире, где он жил тогда с маркизой дю Шатле. Он сделал Лигана учителем сына г-жи дю Шатлэ, ставшего впоследствии генерал-лейтенантом армии и посланником в Вене и Лондоне. Комедия «Блудный сын» имела большой успех. Автор написал по этому поводу г-же Кино: «Вы умеете хранить чужие тайны так же, как ваши собственные. Если бы узнали, что автор — я, то пьеса была бы освистана. Людям не нравится, когда кто-либо достигает успеха на двух поприщах, Я нажил себе достаточное количество врагов “Эдипом” и “Генриадой”».

Тем не менее он в это же время начал работать в совершенно иной области: он писал «Элементы философии Ньютона», которые тогда еще мало были известны во Франции. Он не сумел заручиться покровительством канцлера д'Агессо, человека всесторонней учености, но воспитанного на системе Декарта; вследствие этого д'Агессо всеми силами боролся против новых открытий. Приверженность нашего писателя к учению Ньютона и Локка создала ему новых врагов. Господину Фалькенеру, тому, которому он посвятил «Заиру», он писал: «Все думают вообще, что французы любят новизну, но они любят ее только в кулинарном деле и в модах. Что же касается новых истин, то мы всегда их изгоняем и признаем их, наконец, лишь тогда, когда они устарели» и т. д.

В виде отдыха от занятий физикой он, шутя, писал поэму «Девственница». Мы имеем доказательства того, что эта шутка была написана целиком в Сире. Госпожа дю Шатле любила стихи так же, как геометрию, и знала в них толк. Хотя поэма эта и была написана в комическом духе, в ней, однако, находили более фантазии, нежели в «Генриаде». Но «Девственница» была самым наглым образом изнасилована грубыми нахалами, которые напечатали ее с невероятными сальностями. Единственными хорошими изданиями следует считать издания Крамера.

Из Сире пришлось уехать, чтобы хлопотать в Брюсселе по поводу процесса, который семья дю Шатле давно уже вела против семьи Гонсбрук и который мог разорить ту и другую стороны. Господину де Вольтеру, вместе с г-ном Рефельдом, удалось, наконец, прекратить тяжбу с помощью 130 тысяч франков французскими деньгами, которые были выплачены маркизу дю Шатле.

Несчастный и знаменитый Руссо находился в то время в Брюсселе. Госпожа дю Шатле не захотела видеть его. Она знала, что Руссо написал когда-то сатиру на ее отца, барона де Бретеяля, в то время, когда он служил у него в лакеях. Свидетельством тому служит документ, написанный целиком рукою г-жи дю Шатле.

Оба поэта встретились и вскоре почувствовали друг к другу довольно сильное отвращение. Руссо показал противнику свою «Оду к потомству», и последний сказал ему: «Друг мой, это письмо никогда не дойдет по адресу». Эту коварную шутку Руссо никогда не мог простить ему. В одном письме к Ли-

нану г-н де Вольтер говорит: «Руссо презирает меня за то, что я иногда небрежно отношусь к рифме, я же презираю его за то, что он только и умеет, что подбирать рифмы!».

Чрезвычайные милости, которыми осыпал его король Прусский, вскоре заставили его забыть ненависть к Руссо. Король был также поэт; он обладал вообще всеми талантами своего сана и многими другими талантами, не относящимися к его положению. Между ним и нашим писателем давно уже установилась правильная переписка, когда король был еще наследным принцем. Некоторые из этих писем были напечатаны в сборниках, составленных из сочинений г-н де Вольтера.

Государь этот, при вступлении своем на престол, объехал все границы своих владений. Желание увидеть французские войска и посетить *инкогнито* Страсбург и Париж побудило его предпринять путешествие в Страсбург под именем графа дю Фура; но, будучи узнан солдатом, служившим в войсках его отца, он вернулся в Клев.

Многие в то время хранили в своем портфеле письмо в прозе и стихах, написанное этим монархом по поводу поездки в Страсбург. Изучение французского языка и французской поэзии, итальянской музыки, философии и истории было его утешением в невзгодах его юности. Это письмо является удивительным по легкости и грации произведением человека, который впоследствии одержал столько военных побед.

Но он написал в то время сочинение гораздо более серьезное и достойное великого монарха: это опровержение Макиавелли. Он прислал его г-ну де Вольтеру для напечатания

и назначил ему свидание в маленьком замке Мез, близ Клева. Господин де Вольтер сказал ему: «Государь, если бы я был Макиавелли и если бы я был допущен к молодому монарху, я бы прежде всего посоветовал ему писать против меня». После этого милости прусского государя к французскому писателю удвоились, и последний в конце 1740 году перед тем как король стал готовиться к походу в Силезию, отправился к его двору в Берлин.

Тогда кардинал Флери стал осыпать его ласками, на которые наш путешественник, по-видимому, не дался в обман.

Как бы то ни было, я ясно вижу, что г-н де Вольтер не имел ни малейшего желания составить себе карьеру политикой, так как тотчас же по приезде в Брюссель всецело предался своему любимому занятию — литературе. Он написал здесь трагедию «Магомет» и вслед за тем вместе с г-жой дю Шатле отправился ставить эту пьесу в Лилль, где была очень хорошая труппа, директором которой состоял писатель и актер Лану. Там играла, между прочим, и знаменитая Клерон, выказывавшая уже тогда большое дарование. Госпожа Дени, племянница автора, жена военного комиссара, бывшего капитана шампанского полка, занимала довольно видное положение в Лилле, находящемся в ведении ее мужа. Госпожа дю Шатле остановилась в ее доме. Я был свидетелем всех этих торжеств: «Магомет» был сыгран очень хорошо.

В одном из антрактов автору подали письмо от прусского короля, сообщившего ему о победе при Мольтвице. Он прочел его публично. Раздались аплодисменты. «Вот увиди-

те, — сказал он, — что это письмо о Мольвице послужит к успеху моей пьесы».

Пьеса была представлена в Париже 19 августа того же года, и здесь более, чем когда-либо, обнаружилось, до каких крайностей может дойти зависть литераторов, в особенности в области театра. Аббат Дефонтен и некий Боннваль, которому г-н де Вольтер помогал в нужде, не будучи в состоянии провалить трагедию «Магомет», представили ее генеральному прокурору как пьесу, направленную против христианской религии. Дело зашло так далеко, что кардинал Флери посоветовал автору взять свою пьесу назад. Совет этот имел силу закона; но автор напечатал ее и посвятил папе Бенедикту XIV Ламбертини, который уже и раньше весьма благосклонно относился к нему. Папе рекомендовал его кардинал Пассионеи, знаменитый литератор, с которым он давно уже состоял в переписке. Мы имеем несколько писем этого папы к де Вольтеру. Его святейшество желал привлечь его в Рим, и Вольтер всю свою жизнь сожалел о том, что не видал этого города, который он называл столицей Европы.

«Магомет» появился снова на сцене лишь много времени спустя, благодаря хлопотам г-жи Дени и вопреки Кребийону, бывшему в то время театральным цензором и служившему под начальством полицейского комиссара. Пришлось взять цензором д'Аламбера. Этот маневр Кребийона показался порядочным людям довольно некрасивым. Пьеса эта оставалась на сцене в то самое время, когда театр находился в наибольшем пренебрежении. Автор сознавался, что не должен

бы был делать Магомета более дурным, чем этот великий человек был в действительности; «но если бы я сделал из него только политического героя, — писал он одному из своих друзей, — пьеса была бы ошикана. В трагедии нужны великие страсти и великие преступления... «Впрочем, — говорит он несколько далее, — *genus implacabile vatum*¹¹ преследует меня более, нежели преследовали Магомета в Мекке. Все толкуют о зависти и интригах, господствующих при дворах — в литературном мире их гораздо больше».

Следствие всех этих неприятностей, г-да де Реомюр и де Меран советовали ему отказаться от поэзии, которая навлекла на него только огорчение и возбуждала зависть; они убеждали его отдаться изучению физики и просить о месте в Академии наук, подобном тому, какое он имел уже в Лондонском Королевском обществе и в Болонском институте. Однако друг его г-н де Формон, в высшей степени любезный литератор, написал ему письмо в стихах, в котором умолял его не зарывать свой талант в землю. И он тотчас же принялся писать «Меропу». Трагедия «Меропа», — первая из пьес на светский сюжет, имевшая успех без помощи любовной интриги. Она принесла автору более почета, чем он ожидал, и была представлена 20 февраля 1743 года.

Вскоре после того он отправился к прусскому королю, который давно уже звал его в Берлин, но для которого он не мог покинуть надолго своих старинных друзей. Во время этого путешествия он оказал выдающуюся услугу королю, как мы видим это из его переписки с государственным минист-

ром Амело. Но мы должны оставить эти подробности в стороне, так как в данном комментарии имеем в виду г-на де Вольтера только как писателя.

Сделавшийся турецким пашой, знаменитый граф де Бониваль, с которым г-н де Вольтер встречался когда-то у настоятеля де Вандома, писал ему тогда из Константинополя, и переписка их продолжалась некоторое время.

К концу 1744 году г-н де Вольтер получил патент историографа Франции, которую назвал «великолепной безделушкой». Он уже был известен своей «Историей Карла XII», которая выдержала множество изданий. История эта была написана главным образом в Англии, на даче, с г-ном Фабрис, камергером английского короля Георга I, прожившим семь лет у Карла XII после Полтавской битвы.

Точно также и «Генриада» была начата в Сент-Анже под влиянием бесед с г-ном де Комартеном.

Эту историю много хвалили за ее стиль и много критиковали за якобы невероятные факты. Но критики и не верящие смолкли, когда король Станислав прислал автору через генерал-лейтенанта графа де Трессана форменную аттестацию, составленную в следующих выражениях: «Господин де Вольтер не забыл и не переместил ни одного факта, ни одного обстоятельства: все — правда, все — в полном порядке. Он пишет о Польше и о всех случившихся событиях, как будто видел все собственными глазами. Писано в Коммерси 11 июля 1759 года».



Дом Вольтера в Ферне. Гравюра XVIII века

Получив эти удостоверения, как историограф, он не захотел, чтобы это звание было пустым звуком, и чтобы о нем сказали то, что один чиновник королевского казначейства сказал о Расине и о Буало: «От этих господ мы не видели ничего, кроме их подписей». Он писал в то время историю войны 1741 году, которая была тогда в полном разгаре и которую вы найдете в его книгах. «Век Людовика XIV» и «Век Людовика XV».

Он гостил в то время в Этиоле, у красавицы г-жи д'Этиоль, которая впоследствии сделалась маркизой Помпадур. Двор сделал распоряжение относительно празднеств, которые в начале 1745 года должны были сопровождать свадьбу дофина с испанской инфантой. Потребовались балеты с пением и с комедией, которая связывала бы музыкальные номера. Работа эта была поручена г-ну де Вольтеру, хотя ему этот спектакль не очень-то был по вкусу. Главным действующим лицом он взял какую-то принцессу Наварскую. Пьеса написана с большой легкостью. Господин де ла Поплиниер, управляющий финансами, человек литературно образованный, прибавил несколько куплетов; музыку же сочинил знаменитый Рамо.

Г-жа д'Этиоль выхлопотала тогда для г-на де Вольтера бесплатное получение должности камергера, что представляло собой подарок в шестьдесят тысяч ливров, подарок тем более приятный, что некоторое время спустя он получил, как особенную милость, разрешение продать эту должность, сохранив за собой связанные с нею звание, привилегии и обязанности.

Но уже гораздо раньше этого он получил от короля пенсию в две тысячи ливров, а от королевы в 1500 ливров. Однако он никогда не требовал выдачи этих пенсий.

История сделалась для него обязанностью, и он написал кое-что из «Века Людовика XIV», но отложил продолжение его и стал описывать кампанию 1744 году и достопамятное сражение при Фонтенуа, изобразив во всех подробностях этот в высшей степени интересный момент. Мы находим здесь даже числа убитых в каждом полку. Граф д'Аржансон, военный министр, доставил ему письма всех офицеров. Маршал де Ноайль и маршал Саксонский доверили ему свои мемуары.

Из его бумаг мы видим, что описание высадки в Англию в 1746 году было поручено ему. Герцог Ришелье должен был командовать армией.

Претендент уже выиграл два сражения, и ожидали революции. Господину де Вольтеру поручили составить манифест. Из мыслей, выраженных в этом документе, видно, какое уважение и какую любовь питал всегда автор к английской нации. Он и впоследствии сохранял к ней всегда те же чувства.

План и проект этой высадки, которая никогда не была приведена в исполнение, составил злополучный граф Лалли. Он был родом ирландец и ненавидел англичан так же сильно, как наш писатель любил их. Ненависть эта превратилась у Лалли даже в сильнейшую злобу, как не раз говорил нам г-н де Вольтер, и мы не можем не выразить нашего глубокого изумление перед обвинением генерала Лалли в том, что он

будто бы сдал Пондишери англичанам. Указ, приговоривший его к смерти, составляет один из самых необычайных приговоров нашего века; он является как бы одним из последних несчастий Франции. Пример этот так же, как пример маршала де Марильяка, ясно свидетельствует о том, что командующие войсками или управляющие делами государства редко бывают уверены в том, что умрут в своей постели или на почетном месте.

Господин де Вольтер вступил во Французскую академию в 1764 году. Он первый нарушил скучный обычай наполнять вступительную речь одними только избитыми похвалами кардиналу Ришелье. Он украсил свою речь новыми заметками о французском языке и о литературном вкусе. Вступавшие в Академию после него большею частью следовали этому примеру и усовершенствовали этот полезный метод.

В 1748 году он был с г-жою дю Шатле у короля Станислава в Люневиле, откуда послал комедию «Нанина», представленную 17 июля того же года. Сначала она не особенно понравилась, но зато потом имела выдающийся и прочный успех. Это странное обстоятельство я могу объяснить только тайной склонностью людей к желанию унижить человека, приобретшего слишком громкое имя. Однако со временем они невольно поддаются его обаянию.

То же самое случилось и при первом представлении 20 августа 1748 года «Семирамиды», которая впоследствии производила еще большее впечатление на сцене, чем «Меропа» и «Магомет».

Я удивляюсь, однако, тому, что автор не подписался своим именем под «Панегириком Людовику XV», напечатанным в 1749 году и переизданным на латинский, итальянский, испанский и английский языки.

Болезнь, внушавшая серьезные опасения за жизнь короля Людовика XV, а также битва при Фонтенуа, внушавшая еще большие опасения за него и за Францию, делали и это сочинение интересным. Восхваление автора основывались на фактах и на философских рассуждениях, составляющих отличительную черту всех его произведений. Панегирик этот относился столько же к офицерам, сколько к Людовику XV. Однако он не поднес его никому, даже королю. Он знал, что теперь были не те времена. В том же 1749 году он все еще был в Люневильском дворце с г-жою дю Шатле.

Здесь и скончалась эта знаменитая женщина. Тогда прусский король призвал г-на де Вольтера к себе. Однако он решил покинуть Францию, чтобы до конца жизни остаться у его прусского величества, не раньше, как к концу августа 1750 г. Он уехал, но после того, как выдержал более чем шестимесячную борьбу со своими близкими и друзьями, которые усиленно отговаривали его от этого переселения. Не давая обещание поселиться окончательно у прусского короля, он, однако, не мог противиться письму, которое этот монарх написал ему 23 августа из своих покоев в комнату своего гостя в Берлинском дворце. Это письмо долго ходило по рукам и затем много раз было напечатано.

После того король Прусский обратился через министерство к королю Франции за разрешением, которое и было дано ему последним. Нашему писателю поднесли в Берлине орден за заслуги, камергерский ключ и двадцать тысяч франков пенсии. Тем не менее он продолжал содержать дом в Париже, и я видел, по счетам парижского нотариуса Делале, что он тратил там тридцать тысяч в год. Его привязывала к королю Прусскому почтительная преданность и соответствие наклонностей и вкусов. Он много раз повторял, что этот монарх столь же приятен в обществе, сколь страшен во главе войска, что он никогда не проводил время так весело в Париже, как на тех ужинах, на которые приглашал его каждый вечер король. Его восхищение прусским королем доходило до восторга. Он жил во дворце под покоем короля и выходил из своей комнаты только к ужину. Король наверху писал философские сочинения, занимался историей и поэзией. Его любимец внизу посвящал свое время тем же искусствам и тем же работам. Они посылали друг другу свои произведения. Прусский король написал в Потсдаме свою «Историю Бранденбурга», тогда как французский писатель, привезший с собой материалы, составил историю «Века Людовика XIV». Таким образом, дни его протекали безмятежно, в столь приятных занятиях. В Париже, между тем, ставили его «Ореста» и его «Спасенный Рим». «Орест» был представлен в конце 1749 года, а «Спасенный Рим» в 1750 году.

В обеих этих пьесах совершенно отсутствует любовный элемент, — так же, как в «Меропе» и «Смерти Цезаря». Он

стремился очистить сцену от всего, что не носит отпечатка возвышенного чувства и трагизма. Он смотрел на влюбленную *Электру* как на чудовище, украшенное грязными лентами, и выражал эти мысли во многих своих произведениях.

Надо сознаться, что приятнее этой жизни ничего не может быть; из нее вытекала, кроме того, великая польза для философии и литературы. Счастье это было бы прочнее и могло бы еще увеличиться, если бы не спор, возникший по поводу одного физико-математического вопроса между Мопертюи, гостившим в то время также у короля Прусского, и библиотекарем принцессы Оранской, Кенигом в Гааге. Этот спор был последствием тех споров, которые долгое время ожесточенно велись между математиками о двигательных и мертвых силах. Нельзя не признать, что во всем этом было не мало шарлатанства, — так же, как в теологии и в медицине. В сущности, не о чем было и спорить, ибо как бы вы ни запутывали вопрос, вы всегда приходили к одним и тем же формулам вычисления. Но стороны раздражались друг против друга; Мопертюи добился в 1752 году осуждения Кенига Берлинской академией, где он играл преобладающую роль, — на основании какого-то письма покойного Лейбница. Оригинал этого письма он не мог, правда, предъявить, но его видел Вольтер. Мопертюи пошел еще далее и написал принцессе Оранской, прося ее отрешить Кенига от должности своего библиотекаря, и донес на него королю Прусскому, будто бы тот оказал непочтение к особе монарха; Вольтер, проживший целых два года с Кенигом в Сире и состоявший с ним в тесной дружбе, счел себя обязанным открыто принять его сторону.

Ссора разгорелась; изучение философии обратилось в интриги и препирательства. Мопертюи распространил слух, что однажды, когда генерал Манштейн находился в комнате Вольтера, который в эту минуту переводил на французский язык написанные этим офицером «Мемуары о России», король прислал ему на просмотр сочиненные им стихи. Тогда будто бы Вольтер сказал Манштейну: «Друг мой, отложим это до другого раза. Король прислал мне в стирку свое грязное белье; ваше я выстираю потом». — При дворе часто одного слова достаточно, чтобы погубить человека. Мопертюи приписал Вольтеру эти слова и погубил его.

Как раз в это время Мопертюи печатал свои весьма странные философские «Письма», в которых предлагал построить латинский город; отправиться в научную экспедицию по морю, прямо к Северному полюсу; прорыть колодезь до самого центра земли; ехать в Магелланов пролив и вскрывать мозги патагонцев, чтобы узнать сущность души; мазать всех больных смолой, чтобы остановить опасное потение, а главное не платить врачам.

Господин де Вольтер с обычным остроумием высмеял эти философские идеи, и эти насмешки, к сожалению, составили увеселение всего литературного мира. Мопертюи постарался присоединить к своему оскорблению оскорбление короля, и на шутку Вольтера взглянули как на непочтительное отношение к его величеству. Тогда г-н де Вольтер почтительнейше отослал королю свой камергерский ключ и свой орден при следующем четверостишии:

Мемуары Вольтера

Я принял их нежней друзей
И отдаю, скорбя душою.
Любовник в ревности, терзаемый тоскою
Портрет возлюбленной так возвращает ей.

Король вернул ему и ключ, и орден. Он отправился гостить к герцогине Готской, которая всегда, до самой смерти, удостаивала его своей неизменной дружбой. Для нее он год спустя написал «Летопись империи».

В то время, как он находился в Готе, Мопертюи успел построить свои батареи против отсутствующего, который почувствовал это, приехав во Франкфурт-на-Майне. Племянница его, г-жа Дени, назначила ему свидание в этом городе.

Какой-то добродетельный немец, не любивший ни французов, ни их стихов, явился к нему 1-го июня и потребовал французские стихи («Поэтические произведения») своего повелителя. Вольтер отвечал, что «Поэтические произведения» находятся, со всеми его вещами, в Лейпциге. Немец объявил ему, что его не выпустят из Франкфурта, пока не придут стихотворения. Господин де Вольтер передал ему свой камергерский ключ и свой орден и обещал отдать требуемое; тогда этот субъект дал ему следующую расписку:

«Милостивый государь! Как только прибудет из Лейпцига багаж, в котором находятся «Поэтические произведения» моего государя, вы можете отправляться, куда вам будет угодно. Франкфурт 1-го июня 1753 г.»

Арестованный подписал под этой распиской: «Годно вместо “Поэтических произведений” вашего государя».

Но когда пришли стихотворения, тогда придрались к какому-то векселям, которые не приходили. Путешественники были задержаны на две недели на постоялом дворе Козла, якобы из-за этих векселей. Это походило на приключение епископа Валенции, Кознака, которого Лувуа, по словам аббата де Шуази, приказал задержать в дороге как фальшивомонетчика.

Наконец, они выехали только после того, как заплатили значительный выкуп. Но эти мелкие подробности никогда не доходят до королей. Все это было, конечно, скоро забыто с той и другой стороны. Король возвратил стихи своему старинному поклоннику и прислал ему еще много других. Это была ссора влюбленных: пустые придворные неприятности проходят, но сущность истинной, господствующей привязанности живет долгое время.

Вольтер, перечитывая с умилением сохраненное им трогательное и красноречивое письмо короля, говорил: «После такого письма становится очевидным, что я был кругом виноват».

У Вольтера было в Эльзасе, на земле, принадлежащей герцогу Вюртембергскому, маленькое имение. Он отправился туда и занялся, как я уже говорил, печатанием «Летописи империи», подарив издание кольмарскому книгопродавцу Иоганну-Фридриху Шефлину, брату знаменитого Шефлина, профессора истории в Страсбурге. Дела этого книгопро-

давца шли плохо и г-н де Вольтер дал ему займы десять тысяч ливров. Поэтому я не могу надивиться подлости многих бумагомарателей, напечатавших, будто бы он нажил громадное состояние постоянной продажей своих произведений.

Когда он был в Кольмаре, г-н Верне, родом француз, евангелический пастор в Женеве, и братья Крамеры, коренные граждане этого знаменитого города, писали ему, прося приехать в Женеву печатать свои сочинения. Он отдал предпочтение братьям Крамерам, имевшим большую книжную торговлю, и представил им свои сочинения на тех же условиях, что и Шефлину, т. е. даром.

Итак, он отправился в Женеву со своей племянницей и своим другом Колини, служившим ему секретарем. Впоследствии Колини сделался секретарем и библиотекарем курфюста Палатинского.

Господин де Вольтер купил в пожизненное пользование хорошенькую дачку близ изобилующей живописными окрестностями Женевы, откуда во все стороны открывается наиболее прелестнейший вид во всей Европе. В Лозанне он купил еще другую дачу — обе под условием, что ему будет возвращена часть денег, когда он выедет.

Это был первый случай со времен Цвингли и Кальвина, что католик приобретал недвижимое имущество в кантоне.

Он купил также два поместья недалеко от Женевы, в округе Жекс. Он жил, преимущественно, в Ферне, в своем доме, который он подарил племяннице своей, г-же Дени. Это было владение, совершенно свободное от всяких повинно-

стей в пользу короля и от всяких налогов со времен Генриха IV. Ни в какой иной провинции Франции не было земель, пользовавшихся подобными привилегиями. Король патентом утвердил их за де Вольтером. Этой милостью он был обязан герцогу де Шуазель, самому щедрому и великодушному из людей, хотя и не был близко знаком ему.

Маленькая область Жекс была в то время дикой пустыней. Со времен отмены Нантского эдикта восемьдесят плугов стояли в бездействии; болота покрывали половину страны, распространяя заразные болезни. Мечтой нашего писателя было всегда поселиться в заброшенной местности, чтобы создать в ней новую жизнь. Так как мы говорим только на основании документов, то мы в этом случае сошлемся лишь на одно письмо его к епископу города Аннеси, в епархии которого находится Ферне. Нам не удалось отыскать даты письма, но мы полагаем, что оно было написано в 1759 году.

Это письмо и последствия этого дела наводят на глубокие размышления. Господин де Вольтер окончил эту тяжбу, заплатив собственными деньгами за освобождение своих бедных вассалов от угнетавшего их положение, и несчастная местность вскоре совершенно изменила свой вид.

Более легким способом выпутался он из более сложного спора в протестантской местности, где у него было два хороших поместья; одно в Женеве — его зовут и до сих пор «Домом наслаждений», другое в Лозанне.

Все знают, как он ценил свободу, до какой степени всякое притеснение было ему ненавистно, и какое омерзение внуша-

ли ему всегда те лицемерные подлецы, которые осмеливаются подвергать, во имя Божие, самым ужасным мучениям тех, кто смеет мыслить иначе, чем они. Он всегда проповедовал веротерпимость как протестантской, так и католической церкви. Он утверждал, что это единственный способ сделать жизнь сносной и что он умер бы счастливым, если бы мог утвердить эти принципы в Европе. Можно сказать, что он не совсем был обманут в этой надежде, ибо он немало способствовал тому, чтобы от Женевы до Мадрида сделать духовенство более кротким, более человечным, а главное, способствовал просвещению светских людей.

Убежденный в том, что забавы ума смягчают нравы так же, как игры гладиаторов в древности ожесточали их, он построил в Ферне хорошенький театр. Несмотря на свое плохое здоровье, он сам иногда играл на сцене. Племянница его, г-жа Дени, обладавшая в высокой степени талантом декламации и музыкальным дарованием, также сыграла несколько ролей. Для исполнения некоторых пьес приезжали актеры — г-жа Клерон и знаменитый Лекен. За двадцать лье в округе съезжались смотреть на них. Не раз ужин был накрыт на сто человек; бывали также и балы. Однако, несмотря на эту шумную и, по-видимому, рассеянную жизнь, не смотря на преклонные лета, он работал неустанно.

С 1755 г. он дал парижскому театру пьесы: «Китайский сирота» (представлено 20 августа) и «Танкред», представленный 3 ноября 1760 года. Клерон и Лекен развернули весь свой талант в этих двух пьесах. «Кофе», или «Шотландка»,

комедии в прозе, не предназначалась для сцены; но и она была представлена в том же году с большим успехом. Он для своей забавы написал эту пьесу с целью исправить порочно-го Фрерона. Он сильно досадил ему, но не исправил. Комедия эта, переведенная на английский язык Кольманом, имела и в Лондоне такой же успех, как в Париже. Эти работы отнимали у него мало времени: «Шотландка» была написана в неделю; «Танкред» — в месяц.

Среди этих занятий и удовольствий, бывший метрдотель королевы, Титон дю Тилье, старик восьмидесяти пяти лет, рекомендовал Вольтеру внучатую племянницу великого Корнеля, которая была совершенно лишена всяких средств к жизни и покинута всеми. Этот же самый Титон дю Тилье, страстно любивший искусство, хотя и не занимался им сам, пожертвовал крупную сумму на сооружение бронзового Парнаса, где изображены фигуры некоторых французских поэтов и музыкантов. Памятник этот находится в библиотеке короля Франции. Он взял к себе девицу Корнель на воспитание, но, ввиду гибели своего состояния, ничего не мог сделать для нее. Ему пришло в голову, что, может быть, г-н де Вольтер согласится взять на свое попечение девицу, носящую такое почтенное имя.

Господин Дюмолар, член многих академий, известный своим ученым и основательным сочинением о древней и новой трагедиях «Электра», а также г-н Брен, секретарь принца Конти, обратились к Вольтеру с тою же просьбой. Он поблагодарил их за честь, которую они оказали ему, и отвечал,

что, действительно, признает за собой обязанность старого солдата служить внучке своего *генерала*. Итак, молодая девушка в 1760 году прибыла в Делис, на дачу близ Женевы, а оттуда приехала в замок в Ферне. Г-жа Дени согласилась взять на себя окончание ее воспитания, а три года спустя г-н де Вольтер отдал ее замуж за уроженца округа Жекс, драгунского капитана, впоследствии офицера главного штаба, Дюпюи. Кроме того, что он дал им приданое, он оставил их жить у себя, а затем предложил написать комментарии к произведению Корнеля в пользу его внучки и напечатать их по подписке. Король Франции подписал восемь тысяч франков, другие государи последовали его примеру. Герцог де Шуазель, известный своей щедростью, герцогиня де Граммон, г-жа де Помпадур подписали значительные суммы. Господин де Лаборд, банкир короля, не только взял несколько экземпляров книги, но распространил ее в таком количестве, что может быть назван первым созидателем богатства девицы Корнель как по своему усердию, так и по своей щедрости. Таким образом, она в короткое время получила пятьдесят тысяч франков в виде свадебного подарка.

По поводу этой, столь быстро собранной подписки случилась весьма замечательная вещь. Госпожа Жофрен, известная своим умом и своими достоинствами, была некогда душеприказчицей знаменитого Бернара де Фонтенеля, племянника Пьера Корнеля. Но он, к несчастью, забыл в своем завещании об этой родственнице, представленной ему незадолго до смерти. Ее отстранили вместе с отцом и матерью,

объявив их незнакомцами, узурпирующими имя Корнеля. Друзья Корнелей, принимая живое участие в этой семье, но плохо осведомленные и неделикатные, затеяли дерзкий процесс против г-жи Жофрен и нашли адвоката, который, злоупотребляя свободой слова в суде, напечатал против этой дамы оскорбительное обвинение. Госпожа Жофрен, подвергшись несправедливому нападкам, выиграла процесс единогласным решением суда. Несмотря на это оскорбление, которое она, по своему благородству, забыла, г-жа Жофрен первая подписала весьма крупную сумму на издание комментариев.

Академия в полном составе, герцог де Шуазель, герцогиня де Граммон, г-жа де Помпадур и несколько важных лиц дали г-ну де Вольтеру полномочие подписаться за них под брачным контрактом. Это случилось в один из самых блестящих периодов литературы. В то время, как г-н де Вольтер готовил этот брак, который оказался весьма счастливым, ему выпала на долю еще другая радость: благодаря ему, шести дворянам, большею частью несовершеннолетним, возвращены были отцовские поместья, которые иезуиты купили за бесценок. Мы должны вернуться к началу этой истории, особенно интересной еще потому, что ей предшествовал знаменитый крах иезуита Ля Валета и компании, и что она послужила до известной степени первым сигналом уничтожения Ордена иезуитов во Франции.

Шесть братьев Депре де Красси, принадлежавшие к старинному дворянскому роду области Жекс, на границе Швейцарии, состояли на королевской службе. Иезуиты принуж-

дены были отказаться от своих требований, и по решению Дижонского парламента семейство Красси было введено во владение своим имуществом и владеет им и по сие время.

Самое лучшее в этом деле было то, что вскоре после того, когда Франция была избавлена от почтенных иезуитов, те же самые дворяне, у которых добрые отцы хотели отнять их землю, купили смежную с их имением землю иезуитов. Господин де Вольтер, который всегда боролся против атеистов и иезуитов, написал, что приходится признать, что существует Провидение. Он вмешался в это дело отнюдь не из ненависти к отцу Фессу, не из желание досадить иезуитам, так как после того, как братство было распущено, он приютил у себя иезуита, и несколько других писали ему, умоляя его принять к себе также и их. Но среди бывших иезуитов нашлись и менее покладистые и справедливые. Двое из них, Патулье и Нонот, наживали кое-какие деньги пасквилями на него и, конечно, не преминули призвать на помощь католическую религию. Нонот в особенности отличился, написав с полдюжины книжек, в которых проявил менее знания, чем усердия, и менее усердия, чем способности ругаться. Г-н Дамилявиль, один из выдающихся сотрудников «Энциклопедии», снизошел до посрамления его, — так же, как некогда Паскье унизился до порицания бессмысленной наглости иезуита Гарасса.

Некто Де Пон, капитан полка, беседау со своим соседом, г-ном де Вольтером, рассказал ему о печальном материальном положении своей семьи. Довольно ценный участок зем-

ли, который мог бы давать ей средства к жизни, давным-давно был заложен женевцам. Иезуиты приобрели рядом с этим имением в местности Орнэ владение, приносявшее около двух тысяч экю дохода. Им захотелось присоединить к своему поместью и имение г-д де Красси. Настоятель дома иезуитов, Фесс, который называл себя Фесси, сговорился с женевскими кредиторами купить эту землю. Он выхлопотал на то разрешение совета и собирался утвердить его в Дижоне. Ему сказали, что в числе владельцев есть несовершеннолетние и что они, несмотря на разрешение совета, могут быть введены во владение имуществом. Он ответил письменно, что иезуиты ничем не рискуют, и что г-да де Красси никогда не будут в состоянии выплатить необходимую сумму для того, чтобы вступить во владение имуществом своих предков.

Как только г-н де Вольтер узнал, каким странным образом о. Фесс готовился служить интересам братства Иисуса, он тотчас отправился в канцелярию управления Жекс и внес сумму, которую семейство Красси должно было уплатить прежним кредиторам, чтобы вернуть себе свои права.

Но вот какое, в высшей степени странное, фатальное происшествие случилось в это время и доставило громкую славу королю, его совету и докладчикам. Кто бы мог подумать, что первые лучи света, первые попытки к отмщению невинно пострадавших Калас придут с ледников Юры и от границ Швейцарии? Мальчик пятнадцати лет, Донат Калас, младший из сыновей несчастного Каласа-отца, находился

в учении у одного купца в Ниме, когда узнал, к какому ужасному истязанию пристрастный тулузский суд приговорил его добродетельного отца. Возбуждение народа против этого несчастного семейства было так сильно, что все ожидали колесования детей Каласа и сожжения их матери. Таково и было даже заключение главного прокурора; так плохо эта несчастная семья защищала себя, угнетенная горем, уstraшенная, растерявшаяся от перспективы пламени костров и колес и пытки. Юному Каласу внушали, что и с ним поступят так же, как и с прочими членами семьи, и советовали ему бежать в Швейцарию.

Он пришел к г-ну де Вольтеру, который сначала мог только жалеть его и оказать ему материальную помощь, не смея произнести суждение о его отце, матери и братьях.

Вскоре после того другой брат его, приговоренный только к ссылке, также бросился в объятия г-на де Вольтера. Я был свидетелем того, что последний в течение целого месяца навел справки, чтобы удостовериться в невинности этой семьи. Как только он убедился в этом, он счел себя обязанным пред своей совестью попытаться посредством своих друзей, своих денег, своего пера, своего влияния исправить роковую ошибку семи тулузских судей и добиться пересмотра процесса в Королевском совете. Дело тянулось три года. Всем известно, как прославились г-да Кроа и Баканкур, защищая это замечательное дело. Пятьдесят докладчиков единогласно объявили семью Каласов невинной и просили для нее благотельной справедливости короля. Герцог Шуазель,

никогда не упускавший случая выказать возвышенное благородство своей души, не только помог деньгами несчастной семье, но еще выхлопотал в пользу ее тридцать шесть тысяч у короля.

Указ, оправдывавший Каласов и совершенно изменивший их участь, был обнародован 9 марта 1765 года. Девятое марта было как раз годовщиной мучительной казни этого добродетельного отца семейства. Весь Париж сбегался, чтобы видеть их выходящими из тюрьмы и аплодировал им со слезами. После того вся семья была неизменно предана г-ну де Вольтеру, считавшему для себя большой честью быть их другом. Замечательно, что в то время во всей Франции был один только человек, по имени Фрерон, автор каких-то периодических изданий «Письма к графине» и «Литературный год», который осмелился на этих ничтожных листках выразить сомнение относительно невиновности тех, которых король, весь его совет и все общественное мнение оправдали вполне.

Некоторые благомыслящие люди убедили тогда г-на де Вольтера написать свой «Трактат о веротерпимости», считавшийся впоследствии одним из лучших его сочинений в прозе и сделавшийся катехизисом всякого здравомыслящего и справедливого человека. В это же время императрица Екатерина II, имя которой будет бессмертным, создавала законы для своего государства, занимающего пятую часть земного шара. Первым из этих законов сделалось утверждение всеобщей веротерпимости.

На долю нашего отшельника, уединившегося у швейцарской границы, выпало отмищение за оскорбленную и осужденную во Франции невинность. Положение его местожительства между Францией и Швейцарией, между Женевой и Савойей привлекало к нему многих несчастных. Целая семья Сирвен, приговоренная к смерти невежественными и жестокими судьями, нашла себе приют вблизи его владений. В течение целых восьми лет он неустанно хлопотал о их оправдании и наконец добился его.

Считаем нужным заметить здесь, что один сельский судья, по имени Тренке, бывший королевским прокурором, при суде приговорившем к смерти семейство Сирвен, таким образом выразил свое заключение. «Я прошу от имени короля, чтобы Н. Сирвен и жена его, обвиненные и уличенные в том, что они удавили и утопили свою дочь, были изгнаны из прихода». Ничто не может служить лучшим доказательством продажности судейской власти в государстве.

К счастью Вольтера, как он сам говорил, ему досталось на долю защищать проигранные процессы, и ему удалось еще спасти от сожжения гражданку де Сент-Омер, названную Монбальи, приговоренную Арасским судом к сожжению. Ожидали лишь разрешение от бремени этой женщины, чтобы препроводить ее к месту казни. Муж ее уже давно умер на колесе. Кто были эти двое несчастных, два примера супружеской верности и материнской любви, две высоко добродетельные в своей бедности души? Эти безвинные и почтенные личности обвинялись в отцеубийстве и были осуждены

на основании показаний, которые показались бы ничтожными даже судьям, осудившим Каласа. Господину де Вольтеру удалось выхлопотать у канцлера де Мопу пересмотра процесса. Госпожа Монбальи была признана невинной, и честь ее мужа была восстановлена — ничтожное восстановление чести без возмездия и без возмещения за вред! Каков же был у нас уголовный суд! Какой ряд ужасных убийств, начиная с истребления тамплиеров до казни кавалера де ля Барра! Вам кажется, что вы читаете историю дикарей! Но люди, обыкновенно, содрогнутся на одну минуту и — поедут в оперу!

Город Женева был в то время терзаем смутами, которые еще усилились с 1763 году. Ввиду этого беспокойного состояния г-н де Вольтер решил уступить г-ну де Троншен свой дом Делис (близ Женевы) и окончательно поселиться в Ферне, перестроив там сверху до низу весь свой замок и окружив его прелестными, в своей простоте, садами. Смута в Женеве достигла, наконец, того, что враждебные партии 15 февраля 1770 года взялись за оружие. Многие были убиты, несколько семей артистов искали убежища у Вольтера. Он поместил некоторых в своем замке, а для других в течение нескольких лет выстроил пятьдесят каменных домов. Таким образом, селение Ферне, бывшее, когда он купил эту землю, несчастной деревушкой, где влачили жалкое существование сорок человек крестьян, задавленных нищетой и разоренных поборами и арендаторами, — превратилось в дачную местность с 1200 зажиточными жителями, успешно работающи-

ми для себя и для государства. Герцог де Шуазель всеми силами способствовал процветанию этой колонии, развившей у себя обширную торговлю.

Одно обстоятельство, как мне кажется, достойно быть принятым во внимание: несмотря на то, что колония состояла из католиков и протестантов, было совершенно незаметно, что в Ферне были представлены две различные религии. Я видел жен женевских и швейцарских колонистов, изготавливавших своими руками три алтарных пелены к празднику Святого Таинства. Они присутствовали с глубоким почтением при процессии, и г-н Гюгоне, новый католический священник в Ферне, человек благородный и веротерпимый, публично благодарил их в своей проповеди.

Когда заболел кто-либо у католиков, протестантские женщины приходили ухаживать за больным, то же делали по отношению к протестантам и католички. — Все это были плоды тех человеколюбивых принципов, которые г-н де Вольтер распространял всеми своими сочинениями и с особенной яркостью развил в своей книге о веротерпимости. Он всегда говорил, что люди — братья, и доказывал это на деле. Люди, подобные Гюйону, Ноноту, Патулье, Полиану и т. п., ставили ему это в упрек — но ведь они не были ему братьями. «Видите, — говорил он посещавшим его, — эту надпись на фронтоне построенной мною церкви? (“Deo erexit Voltaire” — “Богу воздвигнул Вольтер”). Эта церковь воздвигнута Богу, отцу всех людей.» — И это, действительно, может быть, была единственная церковь, посвященная единому Богу.

Среди иностранцев, приезжавших толпами в Ферне, был не один государь. Из них многие удостаивали г-на де Вольтера своей перепиской, большая часть которой находится у меня в руках. Наиболее последовательной и непрерывной представляется переписка прусского короля и его сестры, маркграфини байрейтской Вильгельмины. Время, протекшее между битвой при Коллине, 18 июня 1757 года, проигранной прусским королем, и битвой при Росбахе, 6 ноября, где он остался победителем, является самым интересным периодом этой редкостной переписки между царствующим домом военных героев и простым литератором. Из трогательно и прекрасно написанного письма видна чудная душа маркграфини Байрейтской, и можно судить, насколько справедливо было восхваление ее со стороны оплакивавшего ее смерть Вольтера в оде, напечатанной вместе с другими его произведениями. Но, главным образом, мы видим из этого письма, какие ужасные несчастья навлекают на народы легкомысленно затеваемые королями войны, мы видим, чему они подвергают самих себя, и до какой степени огорчает их то зло, которое они причиняют народам. С этой минуты и в продолжение всей этой злополучной войны фернейский отшельник не переставал давать всевозможные доказательства своей преданности маркграфине и ее брату-королю, а также доказательства своей любви к миру. Он побудил кардинала де Тансена, жившего на покое в Лионе, вступить в переписку с маркграфиней, с целью устроить желанный мир. Письма

маркграфини проходили через нейтральную страну, Женеву, и через руки г-на де Вольтер.

Удивительную эпоху в истории составит принятое королем Прусским после битвы при Коллине с ее несчастными последствиями решение двинуться в Саксонию и близ Мерзебурга выступить навстречу соединенным французским и австрийским, превышавшим его силой войскам в то время, когда маршал Ришелье стоял поблизости со своим победоносным войском. Государь этот сохранил настолько присутствие духа и власть над своими мыслями, что мог написать маркизу д'Арзансу длинное послание в стихах, в котором он сообщал ему о своем решении умереть, если будет побежден, и прощался с ним. Мы имеем в руках этот беспримерный памятник поэзии, написанный с начала до конца его рукой. У нас имеется еще более геройский памятник этого государя-философа. Это письмо к г-ну де Вольтеру, написанное 9 октября 1757 года, за двадцать пять дней до победы при Росбахе. Особенно хороши и полны величия последние стихи. Корнель в свое самое блестящее время не написал бы лучших. И когда после подобных стихов автор их одерживает победу, величие его достигает высшего апогея.

Между тем кардинал де Тансен тщетно продолжал вести тайные переговоры в пользу мира, как мы видим из его писем. Наконец, герцог де Шуазель взялся за это необходимое дело, и герцог де Прален завершил его, оказав тем важную услугу разоренной и погруженной в печаль Франции. Страна эта находилась в таком плачевном состоянии, что в про-

должение двенадцати лет, следовавших за этой несчастной войной, из всех министров финансов, сменявших один другого, не было ни одного, которому бы, при всем его старании и при помощи усиленных трудов, удалось хотя бы только затянуть немного раны государства. Недостаток в деньгах был так велик, что главный контролер поставлен был в необходимость, ввиду крайней нужды, отобрать у королевского банкира, Мазона, все деньги, доверенные ему гражданами. У нашего отшельника также отобрали двести тысяч франков. Это была громадная потеря, в которой он утешился на французский манер, мадригалом, сочиненным им экспромтом. Господин де Шуазель, который строил в то время великолепный порт в Версуа, на Женевском озере, соорудил там маленький фрегат. Фрегат этот был захвачен савоярами, кредиторами предпринимателей, в одном савойском порте близ Рипайя.

Господин де Вольтер тотчас же выкупил это королевское судно собственными средствами и никогда не получил обратно своих денег от правительства, так как герцог де Шуазель в это время лишился всех своих должностей и удалился в свое поместье Шантелю, о чем жалели не только его друзья, но и вся Франция, любившая его за его доброжелательный характер и за благородство души и признававшая его выдающийся ум. Фернейский отшельник был привязан к нему узами самой искренней и теплой благодарности. Не было такой милости, которой герцог не выхлопотал бы по его рекомендации. Так, он назначил племянника г-на де Вольтера, по имени Гульер, бригадиром королевской армии; пенсии,

награды, патенты, кресты св. Людовика давались по первой его просьбе. Это было большим ударом для человека, устроившего колонию художников и промышленников под его покровительством. Колония эта уже работала успешно для Испании, Германии, Голландии, Италии. Он уже думал, что она погибнет; но она выдержала.

Одна только русская императрица в самый разгар Турецкой войны купила на пятьдесят тысяч франков фернейских часов. Все немало удивлялись тому, что эта государыня одновременно покупала на миллион картин в Голландии и Франции и на несколько миллионов драгоценных камней. Она подарила пятьдесят тысяч ливров г-ну Дидро с такой милостивой деликатностью, которая возвышала еще ценность подарка. Она предложила г-ну д'Аламберу руководить воспитанием ее сына и назначила ему шестьдесят тысяч ливров в год. Но ни здоровье, ни принципы г-на д'Аламбера не позволили ему принять в Петербурге должность, соответствовавшую должности герцога де Монтозе в Версале.

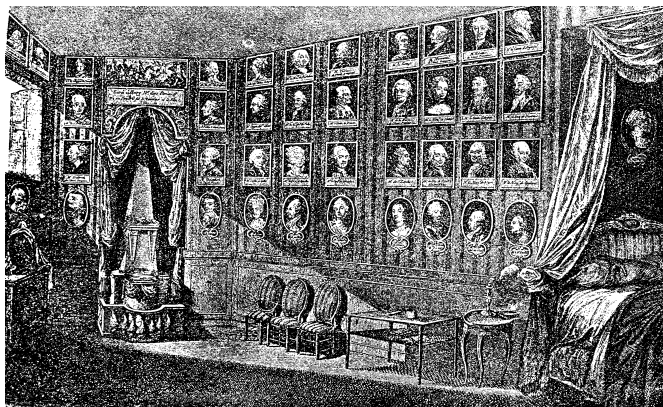
Императрица прислала к г-ну де Вольтеру князя Козловского, который должен был передать ему от ее имени в подарок великолепные меха и точеную шкатулку собственноручной ее работы, украшенную ее портретом и двадцатью бриллиантами. Все это похоже на историю Аbugассана в «Тысяче и одной ночи». Господин де Вольтер написал ей, что она вероятно завоевала своими войсками все сокровища Мустафы. Но она отвечала ему, что «при соблюдении порядка всегда можно быть богатым и что в этой великой вой-

не она никогда не будет испытывать недостатка ни в деньгах, ни в войске». Она сдержала слово.

Между тем знаменитый скульптор Пигаль работал в Париже над статуей отшельника, приютившегося в Ферне. Одна иностранка предложила в 1770 году нескольким истинным ценителям литературы сделать ему эту любезность, чтобы отомстить за все плоские пасквили и нелепые клеветы, которые фанатизм низменных литераторов не переставал распространять против него. о-жа Неккер, супруга женеvского резидента, была инициатором этого проекта. Это была женщина высоко образованного и развитого ума. Характер ее, если это возможно, был еще возвышеннее, нежели ее ум. За ее идею жадно ухватились все, посещавшие ее дом, при условии, что в подписке для этого предприятие примут участие одни только литераторы.

Король Прусский, в качестве литератора и без сомнения имеющий более, чем кто-либо право на это звание, как и на звание гениального человека, написал письмо знаменитому д'Аламберу и захотел подписаться первым. Письмо это, от 28 июля 1770 года, хранится в архивах Академии.

«Самый прекрасный монумент Вольтера — это тот, который он воздвигнул себе сам своими произведениями. Они будут существовать дольше, нежели собор св. Петра, Лувр и все здания, которые людское тщеславие посвящает вечности. Люди перестанут говорить по-французски, а Вольтер будет еще переводиться на тот язык, который возникнет по-



Кабинет Вольтера в Ферне. Гравюра XVIII века

сле французского. Тем менее, я, исполненный удовольствия, которое дали мне его разнообразные сочинения, столь совершенные, каждое в своем роде, — я не мог бы, не будучи неблагодарным, отказаться от вашего предложения способствовать сооружению памятника, который возводит ему общественная благодарность. Сообщите мне только, что от меня требуется, и я ни в чем не откажу для этой статуи; она принесет более чести тем литераторам, которые посвящают ее ему, нежели самому Вольтеру. Люди признают, что в этот XVIII век, когда столько писателей раздирали друг друга из зависти, нашлись и такие, которые обладали в достаточной степени и благородством, и великодушием, чтобы отдать должное человеку, одаренному гением и талантами, превосходящими все другие во все века; люди признают, что мы были достойны иметь Вольтера. Самое отдаленное потомство будет завидовать нам за это преимущество. Отличать знаменитых людей, отдавать справедливость заслугам — это значит поощрять таланты и добродетель. Это единственная награда прекрасных душ, и ее вполне заслуживают все те, которые работают в области высшей литературы, доставляющей нам наслаждение ума, более продолжительные, нежели наслаждение тела. Она распространяет свое очарование на все течение жизни; она делает нашу жизнь более сносной, а смерть менее ужасной. Итак, продолжайте, господа, охранять и прославлять тех, которые имели счастье отличиться доблестью во Франции: сие есть наиболее прекрасное, что вы можете сделать и что в глазах будущих времен будет служить для вас

лучшим оправданием против варварских народов, которые захотели бы набросить тень позора на вашу нацию».

«Прощайте, мой милый д'Аламбер, будьте здоровы до тех пор, когда и вам также соорудят статую. Затем молю Бога, чтобы он хранил вас под своей святой защитой».

Фридрих.

Король Прусский сделал более. Он приказал изготовить на своей фарфоровой фабрике статую писателя и прислал ему ее с надписью на цоколе: *Immortali* («Бессмертному»).

Скульптор Пигаль взялся исполнить его статую во Франции и взялся за это с рвением художника, желающего обесмертить другого художника. Этот единственный в то время случай делается скоро общепринятым обычаем. Художникам будут ставить статуи или хотя бы бюсты так же, как теперь принято кричать: «Автора! Автора!», — в театре. Однако, тот, кому оказывали эту честь, предвидел, что это еще более ожесточит против него его врагов. Он был совершенно прав, утверждая, что эта неожиданная честь разнуздает против него фанатизм писак. Он писал г-н Тиерио: «Все эти господа гораздо более заслуживают статуи, нежели я, и я признаю, что многие из них достойны бы были фигурировать в изображении (*in effigie*) на городской площади»¹².

Господа Нонот, Фрерон Сабатье и т. п. подняли громкие крики. С особенной яростью набросился на него чужестранный горец, которому гораздо более пристало быть трубочистом, нежели руководителем душ. Человек этот, большой нахал, написал в интимном тоне королю Франции, словно

равный к равному, письмо, в котором просил его сделать ему удовольствие выгнать больного семидесятипятилетнего старика из его собственного дома, им самим выстроенного, с полей, которые он распахал заново, отнять его от сотни семейств, которые им только и жили. Король нашел предложение весьма наглым, противным христианскому духу и приказал передать это капеллану.

Фернейский отшельник, будучи болен и не зная, что начать, захотел отомстить за эту проделку решением подвергнуться, по существующему в то время обычаю, соборованию. Он поступил, как те, которых в Париже называли янсенистами. Он послал пристава сказать своему кюре, по имени Гро (пьяница, умерший от пьянства), чтобы он, кюре, пришел непременно первого апреля соборовать его к нему на дом. Кюре явился и объявил ему, что прежде следует принять причастие, а потом уже совершить обряд соборование. Больной согласился, и ему принесли причастие в комнату 1-го апреля. Тогда он при свидетелях и в присутствии нотариуса объявил, что прощает своему клеветнику, который хотел погубить его и которому это не удалось. Об этом составлен был протокол. По окончании обряда он сказал: «Я буду иметь то утешение, что умер, как Гусман в “Альзире”, и чувствую себя лучше. Парижские шутники подумают, что это обман на 1 апреля».

Противник его, немало удивленный этой выходкой, не захотел, однако, последовать его примеру: он не простил и мог придумать только такую вещь: он распустил слух о декларации, совершенно отличной от настоящей декларации больного,

составленной у нотариуса, за подписью завещателя и свидетелей, по всем правилам и законам. Две недели спустя два лица составили на скверном савоярском наречии совершенно противоположную декларацию. Однако они не посмели подделать подпись того, кому имели глупость приписывать эту декларацию.

Вот письмо, написанное г-ном де Вольтером по этому поводу: «Я не сержусь на тех, которые заставили меня говорить благочестивые слова таким варварским и ужасным языком. Они плохо выразили мои настоящие чувства, они на своем жаргоне высказали то, что я так часто печатал на французском языке, но они тем не менее выразили сущность моих убеждений. Я с ними согласен. Я присоединяюсь к их верованию: мое просвещенное усердие поддерживает их невежественное рвение; я поручаю себя их савоярским молитвам. Я смиренно умоляю благочестивых составителей подложных документов, смастеривших акт 15 апреля, принять во внимание, что никогда не следует делать подлогов ради истины. Чем более истины заключается в католической религии (что всем известно), тем менее следует лгать ради нее.

Эти маленькие весьма распространенные попущения могут повести к более опасным обманам: вскоре стали бы считать дозволенным фабриковать подложные завещания, подложные дарственные, ложные обвинения — для славы Божьей. В прежние времена совершали более ужасные подлоги. Некоторые из этих лжесвидетелей признались, что действовали под угрозой, но думали, что поступают хорошо.

Они подписались под заявлением, что лгали с добрым намерением. Все это проделывалось с благочестивыми целями, вероятно по примеру отречений, приписанных г-дам де Монтескье, де ля Шалоте, де Монклар и многим другим. Эти благочестивые обманы практикуются около тысячи шестисот лет. Однако, когда подобное религиозное рвение доходит до преступного подлога то в ожидании Царствия Небесного, эти люди многим рискуют и в этой жизни».

Итак, ваш отшельник продолжал с веселым духом делать понемножку добро, когда только мог, смеялся над теми, которые печально творят зло, и подкреплял часто шутками самые серьезные истины. Он сознавался, что порою заходил слишком далеко в высмеивании некоторых своих врагов. «Я поступаю нехорошо, — говорит он в одном из своих писем, — но эти господа нападали на меня в течение сорока лет, и терпение мое лопнуло на десять лет подряд». Переворот, совершившийся во всех парламентах государства в 1771 году, доставил ему много досады. У него было два племянника; один из них вступил в Парижский парламент, другой оставил его. Оба были люди в высшей степени порядочные, оба отличались неподкупной честностью, но принадлежали к двум противоположным партиям. Он не переставал любить одинаково обоих; но громко заявил протест против продажности.

Проект творить суд, как Людовик Святой, безвозмездно, казался ему прекрасным. Он писал, главным образом, в защиту несчастных тяжущихся, которые в течение многих столетий принуждены были отправляться за сто пятьдесят лье

от своих хижин, чтобы окончательно разориться в столице, как проиграв процесс, так и выиграв его. Он всегда высказывал эти мысли в своих сочинениях; он остался верным своим убеждением, не подстраиваясь под чье-либо мнение.

Ему было тогда семьдесят лет, и тем не менее он в один год переделал всю «Софонисбу» Мере целиком и написал трагедию «Законы Миноса». Он не считал хорошими этих наско-ро написанных для своего домашнего театра пьес. Знатоки не очень дурно отзывались о «Законах Миноса»; но надо со-знать, что драматические произведения, не появившиеся на сцене или не продержавшиеся на ней, служат лишь к то-му, чтобы бесполезно увеличивать кучу книг, которыми за-валена Европа; точно так же картины и эстампы, не попав-шие в коллекцию любителей, все равно что не существуют.

В 1774 году ему снова представился необыкновенный случай проявить то же усердие, которое он имел счастье вы-казать в роковых случаях с семействами Каласов и Сирвенов. Он узнал, что в Везеле в войсках короля Прусского служит мо-лодой французский дворянин, отличающийся большой скром-ностью и на редкость хорошим поведением. Этот молодой человек служил простым волонтером. Это был тот самый, ко-торый был вместе с кавалером де ля Барром приговорен к каз-ни отцеубийц за то, что они не встали под дождем на колени перед процессией капуцинов, проходившей в пятидесяти или шестидесяти шагах от них. Кроме того, их обвинили в том, что они пели неприличную солдатскую песню, сочиненную лет сто назад, и читали вслух «Оду к Приапу» Пирона.

Эта ода Пирона была шалостью ума и юности, порывом, который в свое время король Франции Людовик XV счел столь простительным, что, узнав о бедности поэта, наградил его пенсией из собственной шкатулки. Таким образом тот, кто сочинил стихи, был награжден добрым королем, а те, которые читали их, были присуждены деревенскими варварами к самой ужасной казни. — Трое аббевильских судей вели судопроизводство.

Их приговор гласил, что кавалер де ла Барр и его юный друг, о котором я только что упоминал, будут подвергнуты ординарной и экстраординарной пытке, что им отрежут кисть руки, вырвут клещами язык и затем бросят их живыми в огонь. — Из трех судей, вынесших этот приговор, двое не имели никаких прав судить: один потому, что был заклятым врагом родителей этих молодых людей, другой — потому, что, купив когда-то должность адвоката, он после того купил и выполнял обязанность прокурора в Аббевиле, потому, что главным занятием его была торговля быками и свиньями; потому, что он состоял под судом по приговору консулов города Аббевиля, и потому, что суд поверенных объявил его лишенным права исполнения судебной должности в государстве. — Третий судья, запуганный угрозами двух других, имел слабость подписать приговор и потом всю жизнь мучился столь же ужасными, сколь бесполезными, угрызениями совести.

Кавалер де ля Барр был казнен на удивление всей Европы, которая и теперь еще содрогается от ужаса. Друг его был приговорен заочно, так как с самого начала процесса нахо-

дился в чужих странах. — Приговор этот, до такой степени отвратительный и нелепый, будет вечным пятном на французской нации, он еще более достоин осуждения, чем приговор, вынесенный несчастному Каласу: судьи Каласа были виновны только в заблуждении, тогда как аббевильские судьи совершили преступление не по ошибке, а по варварской жестокости. Они присудили двух невинных юношей к такой же ужасной смерти, как казнь Равальяка и Дамиена, за проступок, который не стоил и восьмидневного ареста. Можно сказать, что со времен Варфоломеевской ночи не было ничего более ужасного. Тяжело рассказывать о подобном проявлении грубого варварства, которого не встретить и у самых диких народов, но истина обязывает к этому. Следует заметить также, что эти ужасы совершались из благочестия в эпоху наибольшего господства роскоши, изнеженности и совершенной разнузданности нравов.

Господин де Вольтер узнал, что один из этих юношей, жертв самого отвратительного фанатизма, когда-либо осквернявшего землю, — находился в одном из полков короля Прусского. Он уведомил об этом короля, который тотчас же великодушно пожаловал молодого человека чином офицера. Король навел, кроме того, справки относительно его поведения: он узнал, что молодой человек самоучкой научился инженерному искусству и черчению, узнал, что он ведет себя хорошо, скромно и порядочно и что поведение его ничем не оправдывает приговора его аббевильских судей. Он сообразовал призвать его к себе, дал ему отряд, сделал его своим

инженером, назначил ему пенсию и таким образом исправил благодеяниями преступление, содеянное жестокостью и глупостью. Он написал г-ну де Вольтеру в самых трогательных выражениях о том, что он сделал для этого достойного уважения и несчастного человека. Мы все были свидетелями этого происшествия, столь позорного для Франции и сделавшего столько чести королю-философу. Этот великий пример будет служить уроком для людей, но исправит ли он их?

Наш старец тотчас же, несмотря на застывающую кровь своего возраста, воспламенился мыслью воспользоваться патристическими взглядами нового министра, который — первый во Франции — выказывал себя отцом народа. Отечество, которое избрал для себя г-н де Вольтер, представляет собой полосу земли, в пять-шесть лье длины и два лье ширины, лежащую между Юрой, Женевским озером, Альпами и Швейцарией. Страну эту разоряли человек восемьдесят агентов судебного и податного ведомства, злоупотреблявших своей властью и страшно обижавших народ тайно от своего начальства. Страна погибала от ужасной нищеты. Господину де Вольтеру удалось добиться от благомыслящего министра указа, по которому эта местность была избавлена от этих грабителей и сделалась свободной и счастливой. «Я должен бы был умереть после этого, ибо выше этого я уже не могу подняться» — сказал г-н де Вольтер.

Однако на этот раз он еще не умер, зато умер его благородный соревнователь, его знаменитый противник Катрен Фрерон. При этом случился, по моему мнению, довольно

забавный инцидент: г-н де Вольтер получил из Парижа приглашение на похороны этого несчастного. Одна женщина, принадлежавшая, очевидно, к семье умершего, написала ему анонимное, находящееся у меня в руках письмо, в котором совершенно серьезно предлагала ему выдать замуж дочь Фрерона так же, как он выдал замуж внучку Корнеля. Она убедительно просила его об этом и даже указывала священника церкви св. Магдалины в Париже, к которому он должен обратиться по этому поводу. Господин де Вольтер сказал мне: «Если только Фрерон написал трагедии “Сид”, “Цинна” и “Полиевкт”, то я не откажусь выдать замуж его дочь».

Но он не всегда получал анонимные письма. Некто Клеман писал ему несколько раз, подписываясь своим именем. Этот Клеман, учитель в каком-то дижонском училище, считавший себя мастером в искусстве рассуждать и писать, приехал в Париж с намерением жить таким ремеслом, которое никакой учебной подготовки не требует. Он сделался «фолликуляром». Аббат де Вуазенон написал: *Zoile genuit Maevium, Maevius genuit Desfontaines, Guyot autem genuit Froron, Froron autem genuit Clement* («Зоил родил Мевия, Мевий родил Дефонтена, Гюйо родил Фрерона, Фрерон родил Клемана»). И вот как происходит вырождение знатных родов.

Этот Клеман с необычайной яростью, как бы защищая все свое достоинство, набросился на маркиза де Сен-Ламбера, на Делия и еще на нескольких академиков и все по поводу нескольких стихов. Господин де Вольтер написал о нем абба-

ту де Вуазенону: «Сколько бы он ни писал мне, ответа он от меня не получит — не стоит связываться; если бы это был Клеман Маро — ну, тогда дал бы я ему знать себя, а то просто Клеман, который в книжке более толстой, чем “Генриада”, доказывает мне, что “Генриада” ничего не стоит, что я, — увы! — не хуже его знаю уже шестьдесят лет... Я начал свою карьеру двадцати лет со второй песни “Генриады”. Тогда я был таков же, каков теперь г-н Клеман — я не понимал ничего. Вместо того, чтобы писать толстую книгу против меня, отчего бы ему не написать лучшую “Генриаду”? Что так легко!».

Есть люди, которые, приобретя привычку писать, не могут оставить ее до самой глубокой старости, как например, Гюэ и Фонтенель. Господин де Вольтер, удрученный годами и болезнями, работал всегда в веселом расположении духа. «Послание к Буало», «Послание к Горацию», «Тактика», «Диалог Пегаса и Старца», «Иван, который плачет и смеется» написаны им на восемьдесят втором году жизни. Он написал также «Вопросы “Энциклопедии”». Каждый том, по мере того, как он выходил, печатался зараз несколькими изданиями, и все они были с ошибками.

По поводу статьи «Мессия» следует отметить один довольно странный случай, показывающий, что глаза зависти не всегда видят хорошо. Статья «Мессия», уже напечатанная в большой парижской «Энциклопедии», принадлежит перу г-на Полье де Боттанса, главного пастора лозанской церкви, человека уважаемого как за его нравственность, так и за его ученость. Статья написана умно, продуманно, поучительно. Мы имеем оригинал, написанный целиком рукою

автора. Ее, по ошибке, приписали г-ну Вольтеру и нашли в ней множество заблуждений. Но как только стало известным, что ее писал священник, так сочинение тотчас же сделалось вполне христианским. Среди тех, которые попались в эту ловушку, надо считать экс-иезуита Нонота. Это тот человек, который вздумал отрицать, что в Дофинэ есть город Ливрон, который некогда был осажден по приказу Генриха III; человек, который не знал, что короли первого дома Франции имели по несколько жен одновременно, которому не известно, что Эвхериусь был создателем фиванской легенды. Он же написал в двух томах опровержение «Трактата о правах и духе народов» и наделал там тьму ошибок на каждой странице своих двух томов. Книга его разошлась благодаря тому, что он нападал на всем известного человека.

Изуверство этого Нонота доходит до того, что он в каком то религиозном или антифилософском словаре утверждает в статье «Чудеса», что в Дижоне из гостии (облатки причастия), проткнутой перочинным ножом потекла кровь, а другая гостия, в Доле, брошенная в огонь, полетела над алтарем. Монах Нонот, в доказательство этих двух фактов, приводит два латинских стиха одного президента из Франш-Контэ. Эти стихи, означают следующее: «Безбожник, зачем колеблешься ты признать человека Богом? Он доказал, что он человек по крови и Бог по пламени». Прекрасное доказательство! И им-то восхищается Нонот, говоря: «Вот каким образом следует поступать, чтобы уверовать в чудеса».

Но бедный Нонот, основывая свои верования на теологических дерзостях и на рассуждениях, заимствованных из до-

ма умалишенных, не знал, что в Европе есть более шестидесяти городов, где народ верит, что когда-то евреи протыкали ножом гостию, и из них текла кровь. Он не знает, что и по сию пору в Брюсселе празднуют память подобного происшествие. Он не знает чуда Медвежьей улицы в Париже, где народ каждый год сжигает фигуру уроженца Швейцарии или Франш-Контэ, который зарезал на этой улице Деву Марию с Младенцем. Он не знает чуда Кармелитов, по имени Бильет, и сотни других чудес в том же роде, которые празднуются подонками народа, и на которые указывают литературные подонки, желающие, чтобы люди верили в эти нелепости так же, как в чудо в Кане Галилейской и в чудо с пятью хлебами.

Все эти отцы Церкви — или выходцы из Бисетра, или выходцы из питейного дома; из них некоторые кланчили у г-на Вольтера на бедность, постоянно присылая ему пасквили и анонимные письма. Он бросал их в огонь, не читая. Размышляя о подлом и презренном ремесле этих несчастных, так называемых литераторов, он написал пьеску в стихах: «Бедняга» (*Le pauvre Diable*), в которой весьма ясно доказывает, что в тысячу раз лучше быть лакеем или привратником в порядочном доме, нежели влачить на улицах, в кафе и чердаках жалкое существование, еле-еле поддерживаемое продажей пасквилей, в которых судят королей, оскорбляют женщин, управляют государствами и ругают ближнего без тени остроумия.

В последние годы Вольтер выказывал глубокое равнодушие к своим произведениям, которые он никогда не ставил

очень высоко и о которых никогда не говорил. Но их печатали достаточно, не спрашивая даже на то его согласие. Как только издание «Генриады», трагедий, истории или стихов («Fugitives») расходилось, так сейчас же предпринималось новое. Он писал издателям: «Не печатайте столько томов моих сочинений; с таким тяжелым грузом не доедешь до потомства». Но его не слушали и печатали второпях, не спрашивая его. Совершенно невероятным, но вполне верным фактом следует считать то, что в Женеве было напечатано великолепное издание его сочинений in quarto, из которого он ни одного листа не видал, и в которое попали несколько сочинений, принадлежащих вовсе не ему, а некоторым другим известным авторам. По поводу всех этих изданий он писал и говорил друзьям: «Я смотрю на себя, как на покойника, подвижность которого подвергается распродаже».

Приложения

¹ «Математические начала натуральной философии» — фундаментальный труд И. Ньютона(1687).

² *Театинцы* — духовный орден, основанный в XVI столетии Таэоном Твенским и Петром Араффа, епископом в Теато.

³ Этот неперевоаемый шуточный куплет имеет приблизительно такой смысл: «Они будут встречены как варвары, мой друг».

⁴ *Каудинское ущелье* (Furculae Caudinae) — ущелье, прославившееся в древности тяжелыми условиями мира, заключенного римлянами со своими победителями самнитянами.

⁵ *Авраам Шоме* (Chaumeix), бывший фабрикант уксуса, сделавшийся янсенистом и духовидцем, был тоже оракулом Парижского парламента. Омер Флери цитирует его как отца Церкви. Впоследствии Шоме был школьным учителем в Москве. (Прим. автора).

⁶ *Картуш* — знаменитый вор и разбойник.

⁷ Настоящее имя Вольтера — Франсуа Мари Аруэ; *де Вольтер* — имя, прибавленное впоследствии.

⁸ «Королева пьет!» — шуточное восклицание при игре с запеченным в пирог бобом, в которую во Франции играют 6 января в день Поклонения волхвов.

⁹ «*Фолликуляр*» — этим словом Вольтер называл плохих журналистов.

¹⁰ *Бисетр* — бывший картезианский монастырь, превращенный впоследствии в убежище для умалишенных.

¹¹ *Genus implacabile vatum* — «беспощадное племя поэтов» (лат.), парафраз Горациевского «genus irritabile vatum» — «раздражительное племя поэтов».

¹² *Фигурировать в изображении (in effigie) на городской площади* — т. е. встать у позорного столба, к которому выставляли преступников или, в случае бегства преступников, их изображение (отсюда: казнь *in effigie*).